

Александра Ушакова

*Теневой мир. Миф о
двух жизнях*

18+

Теневой мир .

Александра Ушакова

Теневой мир. Миф о двух жизнях

«Автор»

2026

Ушакова А. А.

Теневой мир. Миф о двух жизнях / А. А. Ушакова — «Автор»,
2026 — (Теневой мир .)

Две души, две эпохи, одна ошибка. Саша — обычный парень из 2022 года, который тянет мать-инвалида и вечные долги. Александр — суровый княжич из 1322 года, чья жизнь predetermined долгом и браком по расчёту. Судьба сталкивает их в смертельной аварии, и души меняются телами. Теперь Саша должен стать жёстким правителем в мире лесов и голода, а Александр — выжить в бетонных джунглях с мобильным телефоном и заботливой, но чужой матерью. Но это не случайность. Это ошибка двух жнецов — девушек, которые управляют переходами между жизнью и смертью. Чтобы исправить свой промах, они проникают в запретный архив, подкупают чертиков шоколадом и пишут книги судеб, переплетая реальности. У них есть всего год, иначе Сашу и Александра сотрут из бытия.

© Ушакова А. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. О том, что смерти нет.	5
Глава 1. День, который не обещал ничего.	6
Глава 2. Там, где не бывает утра.	10
Глава 3. Та, что видит.	14
Глава 4. Чужие вещи, чужие тайны.	18
Глава 5. Уроки притворства.	22
Глава 6. Ужин под чужим именем.	27
Глава 7. Мысли князя.	32
Глава 8. Белая комната.	36
Глава 9. Тот, кто был Александром.	40
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Теневой мир. Миф о двух жизнях

Пролог. О том, что смерти нет.

Говорят, смерть — это просто дверь.
Но кто сказал, что за ней — тишина?

За ней — бесконечный коридор, где время течёт, как патока, где каждый шаг отдаётся чужим вздохом, а каждый звук — это эхо непрожитой жизни. Там, в этой серой вечности, нет часов, но есть счёты, на которых перебирают судьбы. Там нет солнца, но есть свет — холодный, беспощадный, выхватывающий из тьмы те самые мгновения, которые ты хотел бы забыть.

Смерть — не конец. Она — лишь смена декораций.

Когда одно тело перестаёт дышать, душа не уходит. Она остаётся — чтобы ждать, чтобы помнить, чтобы искать путь обратно. Иногда этот путь короткий — и душа находит новую плоть через мгновение после ухода. Иногда он длится столетия, и душа бродит по мирам, не находя покоя.

Но бывает и так, что две души, две половины одного целого, случайно встречаются в этом коридоре. Они не знают друг друга, но чувствуют — где-то там, за гранью времени, есть их второе «я». Один — воин, привыкший держать меч и не кланяться. Другой — мягкий, добрый парень, который умеет только любить и жертвовать. Они — как две створки одних врат: одна цветущая, другая увядшая, но обе — части одной судьбы.

Тот, кто стоит над ними, кто видит все линии времени, однажды допустил ошибку. Или не ошибку — кто знает? Он просто позволил двум Жнецам, наивным и слишком добрым, перепутать тела, переписать судьбы, столкнуть два мира лбами. Он наблюдал за этим с печалью, но не вмешался. Потому что иногда самая большая мудрость — не вмешиваться, а позволить ошибке стать уроком.

И вот теперь два парня, разделённые веками, живут жизнями друг друга. Один учится быть жёстким в мире, где каждый взгляд — вызов. Другой — быть мягким в мире, где умеют плакать и обнимать. Они не знают, что за ними наблюдают. Что их судьба висит на тонкой нити, сплетённой из слёз и надежды.

Но они чувствуют это — где-то глубоко внутри, там, где живёт самое древнее из чувств. Там, где смерть перестаёт быть концом и становится началом.

Эта история — не о том, как умирают.
Она о том, как рождаются заново, теряя себя и находя себя в чужом отражении.

И если вы готовы — закройте глаза и сделайте шаг.
За дверью вас уже ждут два мира.
И в каждом из них — своя правда.

Глава 1. День, который не обещал ничего.

В каждом человеке, если копнуть достаточно глубоко, есть день, который запоминается не датами и не событиями, а странным, липким ощущением *неправильности*, которое въедается в кожу с самого утра. Он не выделяется ничем особенным — ни праздником, ни трауром, — но в его серой, безликой канве уже с самого рассвета проступают нити, которые стянутся в тугой узел к вечеру. Ты ещё не знаешь, что этот день станет точкой невозврата, но внутри, на уровне животного, древнего чутья, уже тихо воет тревога. Она негромкая, как вой ветра в печной трубе, но она есть.

Утро Александра Зайца началось так, как начинаются все дурные дни в этом мире: с серого, выцветшего до состояния старого полотна августовского неба. Густая, почти осязаемая туча заволокла горизонт не просто плотно, а с какой-то зловещей основательностью, словно небо решило укутать город в ватное одеяло, пропитанное ледяной, грязной водой. Она висела низко, давила на крыши, и в её нутре, глубоко, как в пещере, ворочался гром. Молнии били сухо и ослепительно — не как вспышки света, а как удары хлыста, которые на мгновение вырывали из темноты лица домов, деревьев и мокрого асфальта, чтобы тут же снова погрузить их в сырую полутьму. Гром не просто гремел — он *катился*, как огромный камень по каменной лестнице, перекатываясь через город на многие вёрсты, ломая барабанные перепонки и заставляя дрожать стёкла в окнах.

Саша стоял у кухонного окна, машинально поглаживая холодный, покрытый мелкими царапинами подоконник, и смотрел на эту свинцовую муть. В голове, за глазами, пульсировала глухая, вязкая тяжесть — то самое наследие бессонной ночи, которую он провёл не во сне, а в лихорадочной пляске с цифрами. Тетрадь в клетку, старая, потрёпанная, с засаленными углами, лежала на столе, раскрытая на странице, где дебет и кредит расходились, как два поезда на разных путях. Цифры были упрямыми, злыми, они расползались под его пальцами, как тараканы от света, оставляя за собой лишь чувство собственной беспомощности и горечь во рту.

Он повернулся к плите — старенькой, газовой, с пожелтевшей эмалью, — чтобы сделать спасительный глоток кофе. Но рука, всё ещё помнившая напряжение ночи, дрогнула. Горячая, обжигающая волна плеснула через край тонкой фарфоровой кружки и окатила кисть. Боль была мгновенной и острой, как укус осы, — она взорвалась на коже, и Саша зашипел сквозь зубы, хватая рукой край футболки, чтобы промокнуть кожу. Красное пятно расползлось на запястье, пульсировало, и казалось, что внутри, под кожей, горит маленький уголёк.

— Черт бы тебя побрал, — прошептал он, глядя на покрасневшую кожу, и в голосе его не было злобы — только усталость.

Выходя из квартиры, он наступил на лапу Ваське, коту отца. Старый, облезлый кот с лоснящейся от времени шерстью и мутноватыми жёлтыми глазами спал, свернувшись калачиком, прямо на пороге. Он всегда спал там, словно в этом было его кошачье предназначение — подстергать хозяина и мстить за все обиды. Другой же уместился на шкафу, рыжая морда наблюдала за утренней суетой. Саша, влетев в коридор с уже завязанным шнурком, не заметил его, наступил прямо на мягкую, податливую лапу, и кот взвизгнул — тонко, злобно, с таким надрывом, будто его резали. Он взметнулся в воздух, царапнул когтями по воздуху, оставляя

белые полосы на старых обоях, и уставился на Сашу не мигающим, жёлтым глазом, полным такой укоризны, что Саше показалось — животное выругалось самыми последними словами, какие только знало в своей кошачьей жизни.

— Прости, дурак, — буркнул Саша, но в голосе его не было раскаяния. Он лишь сильнее сжал челюсти, чувствуя, как желваки заходили под кожей.

Он захлопнул дверь и уже наступил на лестничную клетку, когда с досадой хлопнул себя по лбу. Зонт. Он остался в прихожей, в старом ведре из-под краски, где лежали все забытые вещи. Он дернулся назад, нашаривая ключи в кармане джинсов, но пальцы, всё ещё саднившие от ожога, скользнули по холодному металлу, и связка с противным, дребезжащим звоном грохнулась на бетонный пол. Этот звук — звон металла о бетон — эхом разнесся по подъезду, многократно отражаясь от голых стен, и Саше показалось, что утро уже поставило ему диагноз, жирный, нестираемый, как чёрный маркер на белой стене: «День будет сумбурным, тяжёлым и полным унижений».

Парковка встретила его сыростью и запахом мокрого асфальта — тем особым запахом, который появляется только после долгого дождя, когда бетон и битум набухают влагой и источают горьковатый, но почти приятный аромат. Летний дождь, мелкий, промозглый, какой-то предупреждающий, не переставал моросить, словно небо оплакивало всё живое. Серую «Тойоту Короллу», купленную отцом в далёком 2018-м и переданную Саше как семейная реликвия, — «на двадцать лет пользования», — он нашёл под навесом из металлопрофиля. Но, словно назло, именно на лобовое стекло, единственное место, не защищённое козырьком, упало несколько жирных, белесых, уже засохших пятен голубинового помёта. Откуда они взялись на закрытой стоянке, оставалось загадкой, злой и насмешливой, как будто сама судьба решила посмеяться над его утром.

Саша вздохнул, глубоко и протяжно, чувствуя, как этот вздох поднимается из самой диафрагмы, раздвигая рёбра. Он отскребал стекло старой пластиковой картой, лежавшей в бардачке, и чувствовал, как его футболка, промокшая насквозь, прилипает к спине, как холодная вода стекает за шиворот, вызывая нервную дрожь. В машине пахло старой тканью, пылью и почему-то дешёвым табаком — отцовским запахом, который уже два года, казалось, въелся в обивку кресел навечно, въелся в каждую нитку, каждую пору, и не выветривался даже после множества проветриваний. Саша сел за руль, и его пальцы на секунду замерли на руле — на потёртой, местами облезлой коже, где его ладонь оставила свой след. Тонкая, почти незаметная трещина на панели возле бардачка — это он оставил, ударив кулаком в приступе глухой ярости через месяц после похорон. Он помнил этот день. Помнил, как за окном было так же серо, как сейчас, и как он, вернувшись из морга, не выдержал и пробил пластик.

Он вставил ключ зажигания и повернул. Стартер выдал странный, мучительный звук — не скрип, не лязг, а протяжный, умирающий стон, будто двигатель выдыхал свои последние секунды, как старый зверь перед тем, как лечь в снег. *«Как стон умирающего»*, — пронеслось в голове. — *«Перед последним вдохом»*. Машина вздрогнула, кашлянула, из выхлопной трубы вырвался сизый дымок, и она завелась, но этот звук осел в груди холодным камнем, не предвещая ничего хорошего.

Саша Зайц Владимирович был самым обычным парнем. Никакой героики, никакого пафоса — таких, как он, тысячи в этом городе: хороший сын, разгильдяй, который однажды, в одно мгновение, стал главой семьи. Это случилось в 2020-м, когда мир уже качнулся, но для

него это было личное землетрясение. Отца, Владимира Сергеевича, нашли мёртвым прямо у станка на заводе. Сердце, как потом сказали врачи, просто остановилось. Просто — как будто кто-то нажал кнопку, и человек перестал быть. Узнали об этом только вечером, когда звонок в дверь разорвал тишину их маленькой, уютной квартиры, где пахло пирогами и старыми книгами. На пороге стоял начальник цеха, Антон Борман — высокий, седой мужчина с тяжёлыми, как кузнечные молоты, руками и грустными, глубоко запавшими глазами. Он не умел подбирать слова, сказал всё прямо, рублеными фразами, которые били, как удары молотом по наковальне.

Мать, Любовь Анатольевна, не закричала. Она молча посмотрела на Бормана, потом на Сашу, и рухнула прямо на пороге, как подкошенная, — без звука, без стона, просто осела на пол, как тряпичная кукла. Тогда это был приступ, insult. Левая нога навсегда осталась «чужой» — она не слушалась, немела в холода, и мать ходила теперь тяжёлой, волочащейся походкой, заставляя Сашу каждый раз отворачиваться, чтобы не видеть эту хромоту, этот живой укор судьбы.

Именно Антон Борман, старый служака, не дал им пропасть. Он организовал скромные похороны, настоял, чтобы поминки провели в заводской столовой, где пахло щами и дешёвым табаком. Он смотрел на Сашу тяжёлым, испытующим взглядом, в котором было и сочувствие, и требовательность, и сказал тогда: «Не кисни, парень. Ты теперь за бабулю ответчик. Я за твоим отцом полжизни в цеху простоял, он был честным, как зеркало, и добрым до дури. Всем помогал, даже тем, кто не просил. Ты в него». Тогда Саша впервые разревелся за месяц — не от слабости, а от того, что кто-то другой, чужой человек, знал его отца лучше, чем он сам, знал его достоинства и пороки, его привычки и его душу.

Бросив престижный вуз, где он грыз гранит технических наук, Саша пошёл работать в сферу сотовой связи. Оператор поддержки клиентов. Голос в трубке, который должен быть приветливым, даже когда внутри всё кипит от бессилия. Он научился улыбаться голосом, в то время как его лицо оставалось каменным, — и это умение давалось ему с каждым днём всё тяжелее. Мать, Любовь Анатольевна Зайц, после реабилитации почти восстановилась — кроме злополучной ноги, которая будто окостенела, превратилась в чурбан, который она волочила за собой. Но она была женщиной с характером, жёстким и несгибаемым, как старый дуб. Тот же Борман устроил её на завод в отдел кадров. С прошлого места, где она работала бухгалтером, её попросили уйти — инвалидность, неудобство, бесконечные больничные. На новом же месте она расцвела. Коллеги приняли её, несмотря на возраст и хромоту, называли «наша Любаша» или «Любушка», и она снова чувствовала себя нужной, живой, а не обузой. Она ездила туда с коллегой Светланой, полной жизнерадостной женщиной, которая громко хохотала на весь салон, рассказывала анекдоты и приносила домашние пирожки. Иногда Саша забирал мать сам, иногда завод оплачивал такси. Он старался, чтобы она не чувствовала себя лишней, чтобы её глаза не становились влажными от благодарности, которую она не могла высказать.

Но в последнее время удача не просто отвернулась от него. Она обвила его, как удав, сжимая кольца всё туже, и шла за ним по пятам уже второй год. Дни его стали похожи на эту грозу — тяжёлые, тёмные и удушающие. За два года спортивный, яркий парень, который когда-то бегал марафоны и собирал сложнейшие радиосхемы, превратился в тень. Он похудел, скулы заострились, под глазами залегли синие тени, словно кто-то размазал тушь, и даже улыбка, если она появлялась, была кривой и недоброй. Мать смотрела на него с укором — не злым, а таким, от которого сердце сжимается в тугой узел. В её глазах было отчаянье, смешанное с немой мольбой: «Сынок, очнись, где тот мой мальчик?»

Он ехал по мокрым, немым улицам города. Асфальт блестел под колёсами, как зеркальная гладь, отражая размазанные огни редких фонарей, которые горели тускло, еле-еле пробиваясь сквозь пелену дождя. Дворники с мерзким, хриплым скрипом ползали по стеклу, размазывая капли в мутные разводы. «Королла» кряхтела, фыркала, но упорно двигала конструкцию к злополучному перекрёстку, словно влекомая неумолимой силой. Саша знал, что машина давно требует ремонта — подвеска сыпалась, коробка передач вела себя капризно, но денег на сервис не было. Они таяли, испарялись из кошелька, словно их съедала какая-то невидимая моль. Платежи, кредиты, лекарства матери, еда, коммуналка — долги тяжёлым грузом висели на плечах, гнули спину, и Саша чувствовал, как его собственный позвоночник начинает скрипеть, как ржавый мост.

Яркие пятна светофора — красный, жёлтый, зелёный — лихорадочно мигали в его глазах, превращаясь в размытые овалы. Зелёный свет горел призывно, навязчиво, звал двигаться дальше, не останавливаясь. Он повернул на перекресток, чувствуя, как накатывает тупая усталость — та самая, которая сидит в костях, в каждой клетке, не давая думать ясно.

Он не увидел «мерседес», вылетевший на красный с правой стороны. Он даже не услышал визга шин — дождь заглушал всё. Он лишь ощутил удар. Гулкий, металлический, от которого содрогается всё нутро, от зубов до пяток. Его машину развернуло, словно игрушку в руках великана. В следующее мгновение мир перевернулся: небо оказалось внизу, а асфальт — наверху. Тяжёлый удар, скрежет металла о металл, звон разбитого стекла, дождь, ворвавшийся в салон ледяными брызгами, резкая, чудовищная боль, прострелившая плечо и шею, — всё смешалось в один оглушительный, ослепительный хаос.

Он висел вниз головой. Ремень безопасности впился в грудь, раздирая кожу, мешая дышать, врезаясь в ключицы. Стекло было разбито вдребезги, и дождь заливал лицо, смешиваясь с чем-то тёплым и липким — кровью, сочащейся из рассеченной брови и разбитого носа. В ушах стоял звон — высокий, пронзительный, похожий на звук лопнувшей струны, — а в голове, сквозь пелену шока, пульсировала одна-единственная, обезумевшая от ужаса мысль. Она билась о черепную коробку, как птица о стекло:

«Как же мама? Кто её заберёт завтра с работы? Кто купит ей лекарства? Кто скажет ей, что я... что я...»

Сознание начало уплывать, таять, смешиваясь с чернотой неба и запахом бензина, разлитого по асфальту. Где-то далеко, сквозь звон и шум дождя, он услышал крики и вой сирены — они приближались, но казались такими далёкими, словно из другого мира. А на губах уже застывала холодная, солёная горечь — не дождя, а собственных непролитых слёз, которые так и не успели вылиться наружу.

Глава 2. Там, где не бывает утра.

Сознание таяло, как воск на огне, теряя форму и плотность, превращаясь в нечто аморфное, текучее. Тело покрылось ледяным, липким холодом — не тем, что от дождя, а тем, что проникает внутрь, высасывая тепло из самых костей, из самого нутра. Саше казалось, что его швырнули в прорубь среди зимы, когда вода уже схватывается льдом: лёгкие сжались, отказываясь впускать воздух, сердце пропустило удар, а перед глазами поплыли багровые круги, сменяющиеся чернотой, как в калейдоскопе. Запах бензина, железа и собственной крови смешался с чем-то чуждым — древним, древесным, пахнущим смолой и прелой листвой, мокрым мхом и землёй, которую не касалась рука человека сотни лет. Где-то вдалеке затихала сирена, растворяясь в гуле ветра, а затем наступила полная, вязкая тишина, нарушаемая лишь мерным, глубоким биением — то ли собственного пульса, то ли сердца земли, то ли самого времени.

И вдруг — голос. Мягкий, обволакивающий, как тёплая ладонь на лбу в лихорадке, он коснулся его слуха, проник сквозь вату в ушах.

— Сынок... пора вставать, — сказал женский голос, и в нём было столько беспомощной, отчаянной нежности, что Саша невольно потянулся к этому звуку, как замёрзший путник тянется к огню, не думая, что огонь может обжечь.

— Ещё немного... — прошептали его губы, ещё не проснувшись, не понимая, где он.

Он перевернулся на другой бок, пряча лицо в подушку, и инстинктивно потянулся к тёплому телу матери, которое привык ощущать рядом в минуты слабости, когда мир становился слишком большим и страшным. Но вместо мягкого пледа, вместо знакомого запаха её духов, его пальцы уткнулись во что-то грубое, колючее, пахнущее звериным жиром и дымом, как от старого кострища. Он открыл глаза. Медленно, с усилием, словно веки налились свинцом, и мир поплыл, обретая чёткость.

Первое, что он увидел, — потолок. Нет, не привычный белый натяжной, а тёмные, могучие брёвна, уложенные одно к другому с грубой, но надёжной силой, какой строят только на века. В щелях между ними, забитых паклей и мхом, виднелись тёмные следы старой, застывшей смолы, которая натекла, как слёзы дерева. По стенам, закреплённые на железных крючьях, висели шкуры — бурая медвежья с оскаленной мордой, где жёлтые, старые клыки всё ещё казались острыми; рыжая лисья, с пушистым, но уже облезлым хвостом; пятнистая рысь с чёрными кисточками на ушах. Они свисали тяжёлыми, чужими полотнищами, придавая комнате вид звериного логова, жилища охотника или воина, который не боится смерти и привык спать с оружием под рукой. В углу громоздился сундук, окованный ржавым, но всё ещё крепким железом, на крышке которого топорщилась затейливая резьба: переплетение звериных морд, растительных узоров и каких-то рунических знаков, вырезанных грубыми, но уверенными руками. Узкое, как бойница в крепостной стене, окошко прорезало стену, и сквозь мутное, пузырчатое стекло или, может быть, слюду, лился яркий, почти нереальный свет, какого не бывает в городах.

Саша рывком сел на кровати — это была не его кровать, а грубое ложе из тёсаных досок, застеленное овчиной и каким-то домотканым рядом, пахнущим травой и шерстью. Голова закружилась, перед глазами поплыли золотые мухи, и он схватился за край кровати, чтобы не

упасть. Он провёл ладонью по лицу — кожа была сухой, чистой, без следов крови, без ссадин, без шрамов. Он дышал — ровно и глубоко. Он был цел. Но это было не его тело.

— Вы кто? — его голос сорвался на хрип, когда он увидел женщину, стоящую в дверном проёме.

Она была невысокой, почти маленькой, круглолицей, с выбившейся из-под платка прядью седых волос, которые блестели серебром в утреннем свете. На ней был длинный, грубый сарафан из крашеного холста, перетянутый широким кушаком, и простая холщовая рубаша, вышитая по вороту красными и чёрными нитками. Её руки, уже тронутые возрастом, но всё ещё сильные, были сложены на животе, а глаза — карие, с испуганными, налитыми кровью белками — смотрели на него с такой смесью тревоги и любви, что Саше стало не по себе.

— Я где? Где мама? — спросил он, и голос его дрогнул.

Он вскочил с кровати, босые ноги ступили на холодный, скрипучий деревянный пол, который стонал под его тяжестью, как живой. Сердце забилося где-то в горле, паника плеснула через край горячей волной. Он заметался по комнате, задевая плечом шторы, которые качнулись, словно живые, хватая руками воздух, словно пытаясь поймать ускользающую реальность. Он рванул к окну, прижался лицом к холодной, неровной поверхности слюды, и замер.

За окном раскинулся мир, которого он никогда не видел. Бескрайний лес — тёмный, глухой, стоящий стеной до самого горизонта, где зубчатой, рваной линией вздымались голубые, заснеженные горы. Их вершины, острые, как лезвия, купались в бездонном, лазурном небе — небе такой чистоты и глубины, какой в его родном, загазованном и замызганном городе не бывало даже в самые ясные дни. Это был первозданный, безжалостный свет, от которого слезились глаза, но в котором не было тепла — только бесконечная, спокойная красота, которая не знает о существовании городов и машин.

— Александр... сынок, что с тобой? — голос женщины дрожал, как натянутая струна.

Она вжалась в деревянный косяк двери, будто пытаясь слиться с домом, стать его частью, и её пальцы судорожно теребили кончик платка. В её глазах плескался ужас — не от агрессии, не от страха за себя, а от полного непонимания. Она смотрела на собственного сына, но видела перед собой чужого, безумного человека, который мечется по комнате, выкрикивает непонятные слова и смотрит на неё так, словно видит впервые.

— Мама?! — Саша обернулся к ней, и его голос сломался на полуслове.

Нет, это была не его мать. У Любви Анатольевны были тонкие, изящные черты, светлые, почти пепельные волосы и большие серые глаза, в которых всегда светилась усталая доброта. Эта же женщина — крепкая, коренастая, с кожей, обветренной ветрами до состояния старой коры, — была полной её противоположностью. Но в ней было что-то неуловимо родное, что-то от той теплоты, которую он так отчаянно искал. Может быть, взгляд. Может быть, интонация.

— Колдун!!! — закричала женщина вдруг, и её крик был пронзительным, как крик раненой птицы, когда ястреб уже сжимает когти. — Колдун забрал сына! Он заговорил его, подменил! Люди, помогите!

Она метнулась вниз по лестнице, и Саша услышал, как её грузные шаги загрохотали по деревянным ступеням, как дробь барабана. Внизу тотчас поднялся шум — гул голосов, звон металла, топот множества ног, тяжёлый и беспорядочный, как у стада. Кто-то уронил что-то тяжёлое — с пола донесся глухой, утробный удар, отозвавшийся в стенах дрожью, от которой посыпалась вековая пыль.

Саша стоял посреди комнаты, не в силах пошевелиться. Его тело будто одеревенело, превратилось в столб соли, как у жены Лота. Где-то в глубине сознания пульсировала единственная, выжженная болью мысль: *«Я умер. Это ад. Или чистилище. Или что-то похуже»*.

Лестница снова заходила ходуном, но теперь шаги были уверенными, тяжёлыми, хозяйскими. Дверь распахнулась настежь, и на пороге возник мужчина. Он был похож на отца, как две капли воды — тот же прямой, чуть с горбинкой нос, та же жёсткая линия губ, та же небритая, уже тронутая сединой щетина, серебриющаяся на высоких скулах. Но в нём была мощь, которой никогда не было у Владимира Сергеевича. Он был шире в плечах, грубее, основательнее, живот выдавался вперёд, затянутый в широкий ремень с массивной медной бляхой, на которой был выбит какой-то звериный герб. Его руки, сжимавшие топориче, были узловатыми, покрытыми застарелыми мозолями, как кора старого дуба. И главное — в его глазах не было той вечной усталости, с которой отец возвращался с завода. В его взгляде горел колючий, недоверчивый огонь, который не гасили годы.

— Папа! — сорвалось с губ Саши помимо воли. Он шагнул вперёд, протягивая руки, и в голосе его звучала такая отчаянная мольба, что даже сам он испугался этого звука. — Папа, ты жив! Ты ведь жив!

Мужчина застыл на мгновение, прищурился, разглядывая Сашу тяжёлым, оценивающим взглядом, как разглядывают незнакомца на своей земле. Затем он хмыкнул, раздражённо сплюнул на пол — тёмный, деревянный — и перехватил топор поудобнее.

— Тьфу ты, тупая баба! — прорычал он, но голос его звучал скорее устало, чем зло. — Колдун, колдун... Какой там колдун, шкура бестолковая. Это ж пацан с головой не дружит, ушибся, видать. — Он поставил топор у двери, прислонив его к косяку так, чтобы был под рукой, и повернулся к Саше. — Кто я, говоришь?

— Мой отец, — выдохнул Саша, чувствуя, как из глаз начинают течь слёзы. Они были горячими и обжигающими, будто он выплакивал всё горе последних лет, всю ту боль, которую носил в себе, не давая ей выхода. — Владимир. Ты — Владимир.

Мужчина нахмурился, и на его лице мелькнула странная тень, похожая на удивление, смешанное с болью. Он посмотрел на Сашу так, словно пытался вспомнить что-то давно забытое, что-то, что лежало на самом дне его души, но потом тряхнул головой, отгоняя видение, как отгоняют назойливую муху.

— Владимир я, — глухо произнёс он, и в этом признании не было ни тепла, ни удивления. Только констатация факта, как удар молота по наковальне. — Сильно конь тебя приложил копытами, сынок. Полежи, отдышись. Бабку-травницу позову, пусть кровь почистит.

Он повернулся, чтобы уйти, и бросил через плечо, не оборачиваясь:

— А жену вечером выпорю. За шум и суету глупую. Чтоб не голосила, когда дела нет.

Дверь за ним закрылась, и на лестнице снова загремели шаги — теперь удаляющиеся, спокойные, деловые, как у человека, который знает, что делать, и не сомневается ни в одной своей команде.

Саша остался один. Он силился дышать, но воздух казался густым, тягучим, как мёд, и он не мог надышаться. Он смотрел на закрытую дверь, на топор, оставленный у порога, на шкуры на стенах, на сундук в углу. Его взгляд, блуждая по комнате, остановился на резном рисунке, украшавшем крышку сундука. Это был медведь — огромный, косолапый, стоящий на задних лапах, а в каждой его передней лапе было зажато по топору, как у берсерка из древних саг. Под медведем, вырезанные грубыми, но чёткими буквами, шли слова: «Заѣйц».

Не «Зайц». «Заѣйц» — старинное, корявое написание, с твёрдым знаком, который уже давно вышел из употребления, но Саша узнал его с той жуткой, ледяной отчётливостью, с какой узнают своё имя в кошмарном сне, когда оно звучит из уст призраков.

— И тут я — Зайц, — прошептал он в тишину, и голос его сорвался, превратившись в хрип.

Он закрыл лицо руками и разрыдался — не тихо, не сдержанно, а по-детски, навзрыд, крупными, тяжёлыми слезами, которые текли между пальцев и капали на грубые доски пола, оставляя тёмные пятна. Плечи его вздрагивали, из груди вырывались глухие, хриплые звуки — то ли смех, то ли плач, то ли молитва, обращённая к богам, которых он никогда не знал.

Он не знал, жив он или мёртв. Он не знал, где его настоящая мать, которая, быть может, уже узнала о той страшной аварии на перекрёстке, и сейчас сидит в белой, стерильной палате, сжимая его руку и молясь всем богам, которым никогда не верила. Он не знал, зачем этот лес, эти горы и этот грозный мужчина, похожий на отца, но не знающий его. Он знал только одно: в этом мире он чужой, запёртый в коже чужого тела, под чужим именем, и даже фамилия, вырезанная на вековом дереве, звучит как злая насмешка судьбы.

А за окном, неподвижно и величаво, стояли горы, их вершины упирались в бездонное небо, и чистый, безжалостный свет не давал ответа на его вопросы. Только лес шумел, и ветер доносил запах дыма, и где-то далеко, за лесом, слышался лай собак, и жизнь продолжалась, не обращая внимания на его боль.

Глава 3. Та, что видит.

Саша сидел на краю грубой кровати, уставившись в одну точку на полу, где доски сходились в неровный, тёмный шов. Глаза его, опухшие от долгого, надрывного плача, покраснели и слезились — они выдавали его с головой, как заклеянного зверя, который не умеет скрывать своих чувств. Слезы оставили на щеках солёные дорожки, которые сохли и стягивали кожу, и в горле стоял ком, который не проглатывался, как застрявшая кость. Он тёр лицо ладонями, чувствуя, как шершавая поверхность овчины царапает подбородок, и пытался унять дрожь, которая сотрясала его тело мелкой, нервной волной, как осиновый лист на ветру.

В комнате было тихо. Только за окном шумел лес — тот самый, глухой и вековой, который жил своей жизнью, не зная о его существовании, — да где-то внизу, на первом этаже, слышались приглушённые голоса. Женщина, которая назвала его сыном, всё ещё всхлипывала, но теперь её голос звучал глуше, будто её успокаивали, зажимали рот ладонью. Саша прислушался, но не мог разобрать слов — только обрывки фраз, которые тонули в скрипе половиц и гудении ветра в печной трубе, которая выла, как голодный зверь.

А потом раздался стук.

Три глухих, низких удара — словно кто-то бил сухим поленом о старую, трухлявую древесину. Звук был тягучим, предупреждающим, как бой набатного колокола, и Саша вздрогнул, инстинктивно вжавшись в спинку кровати, ища защиты у грубой деревянной стенки.

— Я войду, молодой господин, — раздался голос за дверью. Он был скрипучим, как ветви старого дуба на ветру, но в нём не было угрозы — только усталость и та особая мудрость, которая бывает у людей, проживших не одну жизнь, выдавших войны, голод и смерть. — Я захожу.

Дверь с противным, протяжным скрипом, похожим на стон, приоткрылась, и в проёме показалась фигура. Это была старуха — сухая, как щепка, согнутая временем так, что она, казалось, вот-вот переломится пополам от малейшего дуновения ветра. Её кожа, морщинистая и жёлтая, как старый пергамент, была натянута на скулах и ключицах, а руки, покрытые старческими пятнами и узловатыми венами, напоминали корни деревьев — цепкие, кривые, с пальцами, скрюченными от постоянной работы. Одета она была в тёмный, домотканый сарафан, который висел на ней, как на вешалке, поверх которого была накинута грубая шерстяная накидка, а на голове — плотный, тёмный платок, завязанный на затылке тугим узлом, из-под которого выбивались седые, редкие пряди. За плечами у неё висела плетёная корзина из ивовых прутьев, доверху наполненная какими-то травами, корнями, тёмными пузырьками и свёртками из бересты.

Саша, не думая, вскочил с кровати и шагнул к ней, машинально протягивая руки — помочь, поддержать, усадить, как он делал всегда, когда видел пожилого человека. Старуха замерла, и в её выцветших, но удивительно острых, как у ястреба, глазах мелькнула искра удивления. Она отпрянула назад, на мгновение вжавшись в дверной косяк, и её лицо исказилось странной гримасой — не испугом, а скорее внезапным пониманием, которое приходит как озарение.

— Так всё-таки колдун, — прошептала она, и в этом шёпоте не было страха. Скорее любопытство, смешанное с горечью, как у старого следопыта, который нашёл не тот след, который искал. — Прежний Александр никому никогда не помогал. Гордый был, как молодой петух, как необъезженный конь. Руки не протянул бы и родной матери, если бы та падала. А ты... ты не он.

Она кряхтя переступила порог, тяжело ступая босыми ногами по холодному полу, и поставила корзину на широкую лавку, что стояла у окна, заваленную старыми тряпками и сухими травами. Её движения были медленными, скованными, — каждый шаг давался ей с трудом, словно она несла на плечах груз всех прожитых лет, но она не жаловалась и не просила помощи. Сев на лавку, она выпрямилась, насколько позволяла её сгорбленная спина, и уставилась на Сашу. Её глаза — два тусклых, выцветших озера, в которых отражался весь прожитый век, — словно ползали по нему, изучая каждую морщинку на лице, каждый жест, каждый вздох, каждое биение его сердца.

Саша сел на кровать напротив, сжав руки в коленях, чувствуя себя ребёнком на допросе, перед которым раскрывают все его мелкие грехи. Он открыл было рот, чтобы сказать, что он не колдун, что он обычный парень из города, где ездят машины и звонят телефоны, где люди не верят в духов и не носят серпы на поясах, но старуха жестом остановила его — сухим, властным взмахом руки.

— Понятно, понятно, — протянула она, и голос её стал мягче, почти ласковым, как у няньки, которая успокаивает испуганного ребёнка. — Откуда ты, милоч?

И Саша заговорил. Сначала сбивчиво, заикаясь, проглатывая слова, но потом они полились рекой, бурной и неудержимой, — он рассказывал ей всё: про серый, бетонный город, про мать-инвалида, которая хромот и не может бегать, про отца, умершего у станка в 2020-м, про работу оператором, где голос должен быть приветливым даже когда хочется кричать, про вечные долги, которые давили на плечи, и ту проклятую аварию на перекрёстке, где он потерял всё, включая себя. Он рассказал про холод, про пустоту, про то, как провалился в черноту, как в прорубь, а очнулся здесь, в этом деревянном мире, где пахнет дымом и звериным жиром. Он не знал, почему доверяет этой сухой, высушенной временем женщине, но в ней было что-то, что располагало к себе — может быть, её спокойствие, может быть, её глаза, которые смотрели не осуждающе, а понимающе, как у той, кто уже всё видела и ничего не боится.

Старуха слушала молча, изредка кивая головой и прикрывая веки, как будто проверяла его слова на вкус. Иногда она задавала странные, отрывистые вопросы, которые заставляли его задуматься:

— Что такое «машина»? — спросила она, и Саша сбивчиво объяснил про железных коней, запряжённых огнём, которые бегают по дорогам без усталости и без пищи.

— Что значит «инвалидность»? — переспросила она, когда он упомянул мамину ногу, и он рассказал про болезни, которые не лечатся травмами и заговорами, про боль, которая не уходит.

Когда он закончил, его голос охрип, а в горле снова запершило, как от долгого крика. Он опустил голову, уставившись в свои руки, и увидел, как на колени упала ещё одна слеза — мутная, тяжёлая, как капля дождя на стекле.

Старуха долго молчала. Она сидела неподвижно, как каменное изваяние, и только её пальцы, лежащие на коленях, чуть заметно шевелились, перебирая что-то невидимое. Потом она тяжело вздохнула, выдохнув воздух с хрипом, как старые меха, и протянула свою сухую, горячую ладонь к его голове. Её пальцы прошли по волосам, отыскивая место ушиба, и Саша вздрогнул от боли, когда она коснулась шишки — твёрдой, горячей, размером с крупную картофелину, которая пульсировала под кожей, как второе сердце.

— Понятно, милоч, поняла, — сказала она тихо, почти шёпотом, и в голосе её была такая глубокая, вековая мудрость, что Саша поверил ей сразу, безоговорочно. Она гладила его по голове, и это прикосновение было странно успокаивающим, словно она снимала рукой тяжесть, давящую на его череп, убирала боль, которая жила внутри. — Ты туда вернуться не сможешь. Слышишь меня? — Она наклонилась ближе, и её выцветшие глаза впились в его зрачки, как два острых клинка. — Там для тебя всё закрыто. Ты умер. Твоё тело, наверное, сейчас там, в той железной коробке, которую ты называешь машиной, и его уже вытаскивают из обломков. Может, ещё живое, но без души. Душа твоя здесь.

Саша хотел закричать, возразить, сказать, что она ошибается, что он просто спит и скоро проснётся, но слова застряли в горле, как кость, и он только открыл рот, но не издал ни звука. Старуха говорила спокойно, даже буднично, словно сообщала ему прогноз погоды на завтра или новость о том, что в лесу появились ягоды.

— Отцу твоему и матери, которые тут, я скажу, что головой ты сильно расшибся и теперь юродивый, — продолжила она, и в её голосе послышались жёсткие, стальные нотки. — Ты им не перечь. Особенно отцу. Он князь здесь, над всей округой — человек суровый, власти своей не уступит, как не уступают её волки в своей стае. Мать твоя — Любава, — она усмехнулась, но в усмешке не было злобы, только горечь, — хоть и не та, что ты помнишь, но тоже мать. Будет тебя жалеть, кормить, укрывать от холода. Притворяйся, что узнаёшь её. Делай вид, что всё помнишь, но с трудом, с усилием, как будто ты вернулся из долгого, тёмного пути.

Она отстранилась и принялась рыться в корзине, перебирая сухие стебли, корни и тёмные пузырьки. Вскоре её пальцы извлекли кашицу — тёмно-зелёную, почти чёрную, пахнущую полынью, дёгтем и мёдом, с резким, горьковатым ароматом, который ударил в ноздри, — и она принялась накладывать её на шишку, ловко и аккуратно, как опытный лекарь, который делал это тысячу раз. Холодная, вязущая мазь обожгла кожу, и Саша поморщился, но терпел, сжав зубы, чтобы не закричать.

— Я буду приходить, — сказала старуха, заматывая его голову грубой холщовой тканью, которую она достала из-за пазухи. Концы она завязала тугим узлом на затылке, чтобы компресс держался, и проверила, не слишком ли туго. — Лечить тебя буду от этой хвори. И учить — как здесь жить, как говорить, как перед людьми не выдавать себя. Иначе сожгут. За колдовство. У нас за это не жалуют. Здесь, в этих лесах, магия — это смерть.

Саша лишь кивнул, чувствуя, как голова тяжелеет от травяного снадобья, как по телу разливается странная, тягучая истома, которая затягивает его в глубокий, тёмный колодец. Он провёл ладонью по повязке и ощутил под пальцами пульсирующий жар шишки — но боль уже отступала, заменяясь тупой, вязкой усталостью.

— Сегодня смотри за всем и изучай, — велела старуха, поднимаясь с лавки, и её кости хрустнули, как сухие ветки под ногой, громко и резко. — Вечером накроют столы по случаю твоего выздоровления. Я приду за тобой, и мы спустимся вместе. Ты будешь молчать — и слушать. Слышишь меня?

— Да, — выдавил Саша, и голос его прозвучал глухо, как из бочки.

Старуха кивнула, подхватила корзину и направилась к двери. Её шаги, лёгкие для такого старого, иссушенного тела, бесшумно пронеслись по половицам — она ступала на пятки, как кошка, не издавая ни звука, словно не касалась пола. Саша смотрел ей вслед, и в его душе шевельнулась странная благодарность к этой высушенной, морщинистой женщине, которая единственная видела, кто он есть на самом деле, и не испугалась, не отвернулась, а протянула руку помощи.

Она вышла в коридор, и дверь за ней затворилась с тихим, почти нежным скрипом, как прощание. Но Саша всё ещё слышал её шаги — они шли вниз, перестукиваясь по ступеням, как капли дождя, пока не стихли на последней.

А затем наступила тишина. И в этой тишине вдруг раздался голос — женский, надрывный, полный такой боли, что у Саши перехватило дыхание, и сердце сжалось в тугой комок:

— Мальчик мой... Александрushка...

Это был голос «матери». Голос Любавы — той самой, которую он видел утром, которая вжалась в косяк и кричала про колдуна. Она плакала там, внизу, и её плач был негромким, но пронзительным, как звон разбитого стекла, — тот самый звук, который разрывает сердце, даже если ты его никогда раньше не слышал. Она плакала о своём сыне, о том Саше, который, возможно, был гордецом и не протягивал руки, но всё же был её плотью и кровью, её надеждой и её болью.

И Саше стало горько. До слёз, до спазма в горле. Не от жалости к себе — нет, он давно перестал жалеть себя, — а от этого чужого, но такого человеческого горя, которое было настоящим, живым, пульсирующим. Он сидел на кровати, сжимая пальцами овчину, и слушал, как женщина, которую он никогда не знал, оплакивает мальчика, которым он никогда не был.

— Прости, — прошептал он в пустоту — то ли ей, то ли себе, то ли той, другой матери, что осталась в мире машин и мёртвых перекрёстков, и его голос дрожал, как струна.

За окном шумел лес, и далёкие горы всё так же упирались в небо, чистое и безответное, как судьба, которая не даёт ответов на вопросы. А где-то там, внизу, в доме из брёвен, звала его чужая мать, и Саша не знал, что делать с этой чужой любовью, которая вдруг обрушилась на него камнем, раздавила его своей тяжестью и теплом.

Глава 4. Чужие вещи, чужие тайны.

Саша остался один в комнате, которая теперь была его клеткой и его убежищем. За окном по-прежнему стоял безмолвный, настороженный лес, и горы синели вдалеке, но теперь он не рвался к ним, не искал выхода, не бился головой о стены. Где-то внутри, глубоко под слоем отчаяния и страха, шевельнулось ледяное, противное спокойствие — то самое, которое наступает, когда падать уже некуда, когда дно достигнуто, и остаётся только либо утонуть, либо оттолкнуться. Он понял, что если хочет выжить, ему нужно не метаться, не кричать, а учиться. Учиться быть здесь. Учиться не выдавать себя, не говорить лишнего, не смотреть не в те глаза.

Он поднялся с кровати, чувствуя, как повязка на голове слегка съехала от его движений, и поправил её, затянув узел потуже. Ноги привыкли к холоду пола — он уже не вздрагивал, ступая на скрипучие доски, которые стонали под его тяжестью, как старые кости. Его взгляд скользнул по комнате, цепляясь за каждую деталь, как за опору: вот на стене висит медвежья шкура с оскаленной пастью — зубы жёлтые, старые, но острые, как кинжалы; вот лисья — рыжая, с белым кончиком хвоста, она колыхнется от сквозняка, будто живая, будто следит за ним; вот на грубом деревянном столе, придвинутом к стене, стоит глиняный кувшин с водой и деревянная миска с остатками каши — её, видно, принесли, пока он спал, и она уже остыла, покрывшись тонкой плёнкой.

Но Сашу больше интересовало то, что скрыто, что лежит в тени, в углах, в сундуках. Он опустился на колени перед большим сундуком — тем самым, с медведем и вырезанным «Зайц», который стоял в углу, как страж. Замок был простой, без ключа, — только кованая щеколда, проржавевшая от времени, но всё ещё крепкая. Он поддел её пальцами, и крышка с тяжёлым, протяжным стоном, похожим на вздох, приподнялась, открывая тёмное, глубокое нутро.

Из сундука пахло деревом, сухой кожей и ещё чем-то — едва уловимым, терпким, словно старые духи, которые хранились здесь десятилетиями. Внутри лежала одежда, аккуратно сложенная, но всё равно мятая, с заломами и следами долгого хранения: три или четыре кожаные куртки, все тёмно-коричневые, с грубой, но мягкой выделкой, сшитые толстыми суровыми нитками. Саша перебирал их, ощущая пальцами шершавую, но податливую поверхность, и выбирал ту, что была с протёртыми локтями и заплатками на плечах — она сидела по фигуре свободно, не сковывая движений, как будто шилась на него, хотя была сшита для другого. Штаны оказались из такой же кожи, плотные, с бахромой по бокам, и тоже с протёртостями на коленях и карманах — словно прежний хозяин постоянно в них сидел на корточках у костра или лазил по скалам, карабкался по деревьям. Саша натянул их, и они сели по ноге так, будто шиты на него, — мягкая, но плотная кожа обхватила тело, как родная, и даже удивилась, как это возможно.

Рубашек в сундуке было много — целая стопка, больше десяти, сложенных в ровную, аккуратную стопку. Белые, из грубого, но чистого льна, с вышитыми воротниками и манжетами, где красные и чёрные нити складывались в сложные узоры, похожие на древние символы; несколько красных, нарядных, как для праздника; и пара тёмно-синих, почти чёрных, для будней. Он выбрал белую — она была проще, чтобы не привлекать внимания, чтобы слиться с толпой, если такая здесь есть. Обувь нашлась на самом дне — мягкие сапоги, сшитые из войлока и кожи, по форме напоминавшие уги, которые так любила его мать. Тёплые, без застёжек,

на мягкой подошве, — натянул и пошёл. Саша надел их, и нога утонула в приятном, сухом тепле, будто он никогда не носил другой обуви.

«Мама», — подумал он, и глаза снова защипало от слёз, которые готовы были пролиться в любой момент. Он представил, как сидит сейчас в той белой, стерильной палате, осунувшаяся, с синяками под глазами, в той самой уютной, тёплой кофте с оленями, которую он подарил ей на прошлый день рождения. Как она там? Кто сказал ей? Кто держит её за руку, кто приносит воду и пирожки? Мысли побежали по замкнутому кругу, как лошадь на водопое, и он тряхнул головой, чтобы сбросить их. Нельзя. Не сейчас. Сейчас ему нужно быть здесь, в этом мире, где каждое слово может стать приговором.

Он заглянул под кровать. Там, в пыльной, тёмной глубине, стоял ещё один сундук — поменьше, оббитый медными полосами, с хитрым, затейливым замком, но незапертый, как будто его и не прятали, а оставили на видном месте. Саша вытащил его на свет, сел на корточки и поднял крышку, которая скрипнула, как старая дверь.

Внутри лежали письма. Много. Стопки пожелтевших, плотных листов, скреплённых сургучными печатями — у каждой свой цвет: красный, зелёный, тёмно-синий, чёрный, — и каждая печать была разной, с разными гербами и знаками. Они были аккуратно перевязаны бечёвкой, как связки дров, и лежали в строгом порядке, по датам или по важности. Саша развязал самую верхнюю связку, развернул верхний лист, и замер.

Буквы. Они были одновременно чужими и родными — кириллица, но с какими-то странными, вычурными завитушками, упрощённая, угловатая, без привычных «Ь» и «Ъ», с твёрдым знаком на конце многих слов, как в древних летописях. Слова складывались медленно, как пазл, и Саша начал читать вслух, по слогам, шевеля губами, как школьник:

— «Я не рада дого-во-ру о бра-ке с то-бой, но род сра-мить не ста-ну, как ре-шат от-цы, так и бу-дет. Но ты мне не люб».

Он перечитал строчку дважды, и в груди что-то кольнуло — жалость, смешанная с неловкостью, с чувством, что он вторгся в чужую тайну. Это была девичья рука, тонкая, нервная, с витиеватыми росчерками и дрожащими линиями. «Не люб». Коротко и беспощадно, как удар кинжала. Брачный договор. Принуждение. Саша вдруг остро осознал, что прежний Александр — тот самый гордый и колючий парень, о котором говорила старуха, — тоже был пленником. Пленником рода, долга, традиций, этих стен, этого леса и этих гор. Он тоже не выбирал свою судьбу.

Он аккуратно свернул письмо, положил его обратно в конверт, завязал бечёвку и закрыл ларь, задвинув его под кровать, в пыльную темноту. На душе стало ещё тяжелее, как будто он нёс на плечах не только свою боль, но и чужую.

— Некрасиво читать чужое, — сказал он вслух, и голос его прозвучал глухо, словно чужой, словно это был голос того, другого Александра, который уже не мог говорить. Он лёг на кровать, уставившись в потолок, где брёвна переплетались с пучками сухой травы, заткнутой в щели для тепла, как гнёзда диких птиц. — Что мне делать?

Вопрос повис в воздухе, и тишина, тягучая и древняя, как сама земля, не давала ответа.

Но усталость взяла своё. Тяжёлая, накопившаяся за эти несколько часов — или уже дней? — она навалилась на него, как каменная плита, придавила к кровати, и он не мог шевельнуться. Глаза слипались, веки становились свинцовыми. Запах трав, исходивший от повязки, успокаивал, проникал в лёгкие, и где-то внизу, за стеной, слышались голоса и звон посуды — вечерняя суэта, приготовления к столу, обычная жизнь, которая продолжалась без него и словно не замечала его боли. Шум этот был уютным, домашним, как в детстве, когда мать готовила ужин, и Саша, сам не заметив, провалился в сон — глубокий, чёрный, без сновидений.

Но сон пришёл не сразу, не как отдых, а как вторжение. Сначала была только чернота — тягучая, бархатная, в которой он парил, не чувствуя тела, не ощущая времени. Потом где-то далеко зажглась белая точка, и она начала расти, приближаться, заполняя всё пространство холодным, стерильным, безжизненным светом, как в операционной.

Он увидел палату. Белые кафельные стены, белый потолок, тусклая лампа над дверью, издающая мерный, гудящий звук, похожий на жужжание пчелы. Запах спирта, антисептика и чего-то металлического, холодного — этот запах он знал, он остался в его ноздрях с тех самых пор, когда они с мамой провели неделю в больнице после папиного удара, когда мир рухнул в одночасье. В углу стоял кардиомонитор, и на его экране пульсировала зелёная линия — ровно, мерно, с надрывом, как пульс загнанного зверя. К койке тянулись провода и трубки, прозрачные и непрозрачные, и на койке лежал он сам.

Саша смотрел на себя со стороны — на своё бледное, измождённое лицо, обезображенное ссадинами и синяками, с повязкой на голове, на руки, вытянутые вдоль тела, в которые были воткнуты иглы капельниц, прозрачные трубки, по которым текла чужая, холодная жизнь. Он дышал через трубку, торчащую изо рта, и каждый выдох сопровождался мягким, шипящим звуком аппарата, который поддерживал его существование.

Рядом, сжавшись на жёстком, неудобном стуле, сидела мама.

Она изменилась до неузнаваемости. Щёки её ввалились, под глазами залегли лиловые, глубокие тени, а волосы — всегда уложенные в аккуратную причёску, всегда чистые и блестящие, — висели спутанными, тусклыми прядями, тронутыми новой, жёсткой сединой. Она смотрела на него, на своё безжизненное тело, и её губы беззвучно шевелились — может быть, она молилась, а может быть, говорила с ним, как это бывает, когда человек уже не слышит. Её левая рука, та самая, неподвижная после инсульта, лежала на коленях, как мёртвая, а правая — дрожащая, с тонкими, прозрачными пальцами — сжимала его пальцы, как будто держалась за единственную ниточку, связывающую её с миром живых.

Саша хотел закричать: «Мама! Я здесь! Я рядом!» — но не мог издать ни звука, его голос пропал, как будто его вырезали. Он попытался протянуть руку, чтобы коснуться её плеча, успокоить её, сказать, что он не умер, что он жив, но его пальцы проходили сквозь неё, как сквозь дым, как сквозь туман. Она не видела его. Она смотрела на того, другого, на его пустую оболочку, и в её глазах застыла такая бездна боли, такой океан отчаяния, что Саша почувствовал, как его собственное сердце разрывается на части, как лопаются струны.

— Мама... — прошептал он, но слышал свой голос только внутри, в своей голове, как эхо в пустом колодце.

Она вздрогнула, словно услышав что-то, и обернулась на дверь, которая бесшумно открылась. Туда вошёл врач — высокий, седой, в белом халате, с усталым, но профессиональным лицом. Он что-то говорил, но слова были глухими, как через толщу воды, как через стекло. Мама подняла на него глаза, и в них застыл вопрос, который она боялась задать, который жил в ней все эти дни, не находя выхода. Врач покачал головой и положил руку ей на плечо — жест, который не требовал слов.

Аппарат издал долгий, протяжный писк, как крик чайки. Зелёная линия на мониторе дернулась, как стрелка компаса, и превратилась в ровную, белую полосу, которая не двигалась, не дышала.

Саша рванулся вперёд, отчаянно, с криком, который вырвался из самой глубины горла, из самой души, — но его выбросило из сна, как пробку из бутылки, как камень из пращи. Он сел на кровати, судорожно хватая воздух ртом, и понял, что щёки его мокры от слёз, а в комнате темно — за окном уже стусились сумерки, и только тусклый свет, пробивающийся из-за двери, освещал половину комнаты, отбрасывая длинные, пляшущие тени.

Он тяжело дышал, сжимая руками овчину, и в его голове пульсировала одна-единственная мысль, колючая и острая, как игла:

«Я умер. Я умер там. И она видела, как я умирал».

Но внизу уже слышался шум — звон миски, громкий голос князя Владимира, приказывающего что-то, и женский плач, уже тише, спокойнее, переходящий в всхлипы и причитания. Вечерний ужин накрывали, и старуха обещала прийти за ним.

Саша провёл ладонью по лицу, стирая слёзы, и сделал глубокий, шумный вдох, чувствуя, как воздух наполняет лёгкие, как сердце успокаивается, переходя с бега на шаг.

— Будь что будет, — сказал он себе, вставая с кровати, и голос его был твёрже, чем он ожидал.

За окном ночь уже опускалась на лес, и горы стали чёрными, почти неразличимыми на фоне потемневшего неба, как тени великанов. Где-то там, внизу, горел свет, и пахло печёным хлебом и мясом, и слышались голоса. Ему предстояло выйти к ним — к людям, которые называли его сыном, но не знали его. Ему предстояло притворяться, что он помнит их, помнит свою жизнь, помнит каждое имя и каждое лицо. И он надеялся только на то, что старуха успеет прийти вовремя, что она будет рядом, чтобы поддержать его, когда он начнёт падать.

Глава 5. Уроки притворства.

Саша медленно поднялся с кровати, и каждый сустав, каждая косточка в его теле отозвались глухой, ноющей болью — словно его перемололи в ступе и собрали заново, но небрежно, кое-как. Повязка, ослабшая за время беспокойного сна, соскользнула с его головы и упала на подушку с глухим, влажным шлепком, оставив на серой овчине тёмное пятно. Вместе с ней отвалилась и высохшая каша — она превратилась в цельную, твёрдую лепёшку, ломкую и хрупкую, с чётко отпечатавшейся внутри формой шишки. Та самая шишка, размером со средний картофель, тупо пульсировала под пальцами, когда Саша осторожно коснулся её. Болело, но терпимо — так, как ноет заживающий ушиб, когда уже прошла острая фаза, но память о боли ещё жива в каждой клетке.

— После таких шишек или дураком становятся, или смерть приходит, — пробормотал он себе под нос, вспоминая байки из детства, которые рассказывала бабушка, сидя у печки. — Интересно, в какой я категории?

Мысли витали в голове, как осенние листья в ветреный день, — рваные, беспорядочные, цепляющиеся одна за другую, но не складывающиеся в единую картину. Он вспомнил, как в девять лет приложился головой об угол железного гаража, когда они с пацанами играли в догонялки на заброшенной стройке. Тогда зубы свело так, что он не мог разжать челюсть полдня, а мать прикладывала к шишке сырое мясо — по бабушкиному рецепту, который она свято хранила, как семейную реликвию. Сейчас мяса не было, и Саша только горько усмехнулся этой мысли, прислушиваясь к звону посуды внизу, к голосам, которые перекликались и смеялись, не ведая о его муках.

И тут раздался стук. Сухой, лёгкий, почти робкий — не три удара, как утром, а всего два, коротких, словно кто-то боялся потревожить его покой.

— Да... да, входите, — сказал Саша, и голос его прозвучал сипло, как у человека, который долго молчал и забыл, как говорить.

Дверь открылась без скрипа — видно, петли смазывали чем-то жирным, может быть, салом или смолой, — и на пороге возникла знахарка, а рядом с ней, чуть позади, стояла девушка. Та самая, которую он ещё не видел воочию, но угадывал по теням и шорохам. Молодая, лет семнадцати-восемнадцати, с русыми волосами, заплетёнными в тугую, почти трофейную косу, которая перекидывалась через плечо и касалась пояса. Её лицо, обрамлённое густыми, пушистыми ресницами и высокими скулами, было бледным, но не болезненным, а скорее от природы светлым, как берёзовая кора. Она была хороша собой, но в ней чувствовалась скованность, внутренняя напряжённость, как у дикой козули, готовой в любой момент сорваться с места и исчезнуть в чаще. Она смотрела в пол, изредка поднимая глаза на Сашу с любопытством, смешанным с лёгким, почти неуловимым страхом, — как смотрят на чужого зверя, который может быть опасен, а может быть и безобиден. В руках она держала тяжёлое деревянное ведро, полное воды до самых краёв, — на поверхности колыхались мелкие льдинки, звенящие, как стеклянные бусы, и от ведра шёл пар, густой и влажный.

Аксюта, не говоря ни слова, указала девушке на камин, сложенный из грубого, неровного камня, который чернел в углу. Та быстро подошла, поставила ведро рядом с очагом, выпря-

милась и замерла, опустив руки по швам, ожидая следующего указания, как вышколенная служанка. Знахарка кивнула в сторону двери, и девушка, с явным облегчением, бесшумно выскользнула из комнаты, закрыв за собой дверь так тихо, что Саша даже не услышал щелчка.

Саша стоял посреди комнаты, не понимая этого молчаливого диалога, этой игры теней и жестов. Он чувствовал себя неловко, как школьник, который попал на экзамен, не выучив ни одного билета, и теперь зрители уже ждут его ответа, а он стоит и хлопает глазами.

— Садись, милоч, — сказала Аксюта, проходя к лавке. Она села на неё, оправив подол, и жестом указала на кровать, на то же самое место, где он сидел раньше. — Голову осмотреть надо. Говори, как оно — не болит, видений странных нет, в голове не шумит?

Саша сел на край кровати, подвинулся поближе и наклонил голову к женщине, позволяя ей ошупать края шишки. Её пальцы были сухими и горячими, как угли, они двигались осторожно, почти невесомо, как у музыканта, проверяющего струны, — каждое прикосновение отдавалось в его черепе слабой, но острой болью.

— Нет, всё хорошо, — соврал он, не моргнув глазом. Сон про палату, про маму и про зелёную линию, превратившуюся в белую, он решил скрыть. Это было слишком личным, слишком болезненным, слишком настоящим, чтобы делиться с кем-то, даже с той, кто уже знала его тайну. — Шишка долго заживает?

— Нет, милоч, — Аксюта с прищуром присмотрелась к нему, будто что-то прикидывая в уме, взвешивая на невидимых весах. — Месяц али два. Кость там крепкая, но ушиб сильный. Тебе повезло — череп не треснул, а то бы ты уже не говорил, а лежал бы с открытым ртом и пускал слюни.

Саша невольно передёрнул плечами, вспоминая своё падение в девятилетнем возрасте. Тогда зубы свело так, что он не мог говорить, а шишка была размером с грецкий орех и болела неделю. Сейчас было хуже, но он молчал, стиснув зубы, чтобы не выдать боли.

Аксюта тем временем набрала воды из ведра в большую глиняную миску, которую она достала из своей корзины. Вода была холодной, почти ледяной — на поверхности плавали крошечные пузырьки воздуха, и от неё пахло родником и мятой. Знахарка окунула в неё чистую, белую тряпицу, отжала и принялась мягко, но настойчиво протирать лицо Саши — лоб, виски, щёки, шею, за ушами. Прикосновения были успокаивающими, как в детстве, когда мать умывала его перед сном, снимая дневную усталость. Саша прикрыл глаза, чувствуя, как прохлада проникает в кожу, смывая остатки сна и тревог, как вода смывает пыль с дороги.

— Так, — пробормотала Аксюта, отложив тряпицу в сторону. — Теперь голову.

Она снова приготовила свежий компресс — ту же пахучую, тёмно-зелёную кашицу из трав, смешанную с мёдом и, кажется, с чем-то ещё, что пахло дёгтем и землёй, — и ловко наложила её на шишку, замотав голову свежей холстиной, которую она заранее нарезала полосами. Саша почувствовал, как по коже побежали мурашки — трава обжигала и успокаивала одновременно, и боль отступила, ушла вглубь, как зверь в свою нору.

— Вот, хорш, — сказала Аксюта, отступив на шаг и оглядывая свою работу. Она кивнула с довольным видом, как художник, закончивший картину, как плотник, поставивший последнюю заклёпку. — Теперь красота.

Саша поднял глаза на женщину. Впервые за этот долгий, безумный день, который растянулся в вечность, он почувствовал что-то похожее на тепло — не от камина, которого здесь не было, а от человеческого участия, от той простой, но такой редкой заботы, которая не требует ничего взамен. Она единственная не смотрела на него как на чужого, как на врага, как на колдуна или безумца. Она видела его, настоящего, за этим маскарадом, за этой повязкой и чужим лицом.

— А как Вас зовут? — спросил он тихо, и в голосе его послышалась благодарность, которую он не пытался скрыть. — Как мне вас звать, если я захочу... ну, если я вас позову?

Аксюта на мгновение замерла, и в её выцветших глазах мелькнула тень удивления — такого, какое бывает, когда слышишь что-то, чего не ждал. Никто не спрашивал её имени — она была «знахаркой», «травницей», а для тех, кто боялся, — «ведьмой», «колдуньей», «ночной гостьей». Но в его вопросе не было страха, только искреннее, почти детское желание знать, как обратиться к ней по-человечески, а не по прозвищу.

— Аксюта меня зовут, — ответила она, помедлив, и приложила сухой, узловатый палец к губам, словно прося сохранить тайну, как печать на письме. — Но по имени уж не зовут. Никто. Для всех я — знахарка, травница или ведьма, кому как нравится, кому как страшнее. Не по имени.

— Спасибо, Аксюта, — сказал Саша, и в его голосе прозвучало что-то, чего не было раньше — искренняя, тёплая благодарность, которая шла от самого сердца. — Вам. За всё спасибо.

Она внимательно посмотрела на него, и что-то дрогнуло в её морщинистом лице — может быть, удивление, а может быть, давно забытая боль, тронутая его простыми, но такими нужными словами. Она не привыкла к благодарности. Она привыкла к страху и подозрению, к тому, что её боятся и избегают.

— Ребёнок, — сказала она тихо, и в этом слове было и укор, и нежность, и что-то от материнской жалости. — Есть ребёнок, даже если заблудился. Даже если потерялся в чужих лесах. Ты ещё не ожесточился, не забыл, как быть человеком. Это хорошо.

Она вытерла руки о грубый, домотканый фартук, который был испачкан травами и землёй, и села на лавку напротив него, сложив руки на коленях. Её взгляд стал деловым, сосредоточенным, как у учителя перед важным уроком.

— Так, учиться будем сейчас, — голос её стал жёстче, чётче, без той мягкой нотки, что была мгновение назад. — Запоминай, милок, и не переспрашивай. Ты — Александр, сын князя Владимира и княгини Любавы Зайцевых. Отец — князь, старший над всей округой, над лесами и горами, над людьми и зверями. Мать — хранительница кладовых и хозяйка дома, она ведёт все запасы, следит за порядком, знает, сколько зерна в амбарах и сколько мяса в копильне. Ты — гордый. Ты — своенравный. Ты никогда не опускаешь глаза первым, никогда не кланяешься ниже, чем положено.

Аксюта подняла палец, сухой и костлявый, подчёркивая важность каждого слова, как гвоздь.

— Ты кланяешься только матери и отцу. Всем остальным — едва заметный кивок, и то если они старейшины или гости из других родов. Ты будущий правитель, понял? У нас не как у вас там, где все равны и спорят до хрипоты. Здесь — иерархия, как в стае волков. Отец решает, мать хранит, ты — наследник. Если ты будешь добрым со всеми — сожрут. Растопчут. Решат, что слабый, что ты не способен держать меч и управлять людьми, и подомнут под себя, как осенний лист. Ты должен быть твёрдым, как кованое железо.

Она замолчала, изучая его лицо, его глаза, его дыхание. Саша слушал, затаив дыхание, впитывая каждое слово, как губка впитывает воду, как сухая земля впитывает дождь.

— Я вижу, ты добрый, — продолжила Аксюта, и её голос стал мягче, почти задумчивым. — Ты не гордый. Ты настоящий, открытый, как ладонь. Но Александр был другим. Он мог ударить, мог накричать, мог прогнать слугу за неловкий взгляд или за плохо поданный кувшин. Он был сложным человеком, тяжёлым, как камень. Ты должен сейчас дать всем понять, что ты изменился, но не стал слабым. Все должны видеть, что ты — всё ещё он, что внутри тебя та же сталь, только ты научился её прятать. Ты должен казаться тем же Александром, даже если внутри ты — Саша, который боится, что его разоблачат.

— А если я ошибусь? — спросил Саша, и голос его дрогнул, как натянутая струна. — Если я не смогу, если я скажу не то, сделаю не так?

Аксюта посмотрела на него с такой пронзительной серьёзностью, что ему стало не по себе. Она подошла ближе, почти вплотную, и положила ему руку на плечо — рука была лёгкой, почти невесомой, как сухой лист, но в ней чувствовалась сила, которую не объяснить словами.

— Если ошибёшься — я вытащу тебя, — сказала она, и в её голосе не было сомнения, только уверенность, как у человека, который уже видел всё и знает, что делать. — Но сначала ты должен попытаться. А теперь — вставай. Нас ждут внизу. Столы накрыты, и ты должен спуститься как хозяин, как сын князя, как наследник. Никто не должен видеть твоего страха.

Саша глубоко вздохнул, чувствуя, как внутри что-то переворачивается — страх, смешанный с решимостью, как вода с маслом. Он поднялся на ноги, оправил кожаную куртку, поправил повязку на голове, чтобы она сидела ровно, и посмотрел на дверь, за которой горел свет, доносился гул голосов, звон посуды и запах жареного мяса.

— Я готов, — сказал он, и голос его прозвучал твёрже, чем он ожидал, — как будто кто-то другой говорил его устами.

Аксюта кивнула, и в её глазах мелькнула искра одобрения, как у старого мастера, который видит, что ученик усвоил урок.

— Тогда идём, — сказала она, поднимаясь с лавки. — И помни, Саша: ты — Александр. Ты — хозяин. Ты — наследник. Они должны верить. А я буду рядом.

Она первой направилась к двери, и Саша шагнул за ней — в свет, в шум, в новую жизнь, которая не спрашивала его согласия, которая просто была, как лес, как горы, как этот древний, суровый мир. За спиной остался сундук с письмами, пустая комната и сон о белой палате. Впереди был вечер, полный опасностей, где каждое неверное слово, каждый неверный взгляд могли стать роковыми.

Он шёл и шептал про себя, как заклинание:

— Я — Александр. Я — Александр. Я должен... я выживу.

И в этом шёпоте было больше мольбы, чем уверенности. Но он шёл.

Глава 6. Ужин под чужим именем.

Саша ступил на верхнюю ступеньку, и под его ногой глухо, протяжно скрипнуло старое, тёсаное дерево — так скрипят половицы в домах, которые помнят ещё прадедов. Лестница была тёмной, узкой, крутой, как винтовая улитка, и лишь внизу, в широком проёме, мерцал тёплый, маслянистый свет — он стелился по полу жёлтыми, дрожащими пятнами, выхватывая из мрака грубые перила и стены из плотного, замшелого камня, сложенного без раствора, на одной только силе тяжести. Саша начал считать ступени, машинально, как делал в детстве, когда боялся темноты в подъезде: «Раз, два, три...» — до двенадцати. Ровно дюжина. Он смотрел на спину Аксюты, которая шла впереди — маленькая, щуплая, согнутая годами, но прямая, как натянутая струна, как лук перед выстрелом. Она не оборачивалась, но словно чувствовала каждый его шаг, каждое колебание, каждое сомнение, которое рождалось в его голове.

Коридор, в который они вышли, был узким и длинным, как кишка, как горло зверя. По стенам на железных крючьях висели масляные лампы — стеклянные колпаки с мерцающим внутри огнём, их свет дрожал и отбрасывал пляшущие, живые тени, которые переплетались и разбегались, как призраки. Пол был выложен плотными, дубовыми балками, тёмными от времени и бесчисленных ног, а стены, сложенные из грубого камня, были старательно отёсаны до ровной, почти гладкой поверхности, и на них, на высоте человеческого роста, висели рога оленей и лосей, пучки сухих трав и старые, выцветшие знамёна. Где-то далеко, за углом, слышался звон посуды и женские голоса, смешанные с низким гудением мужских разговоров — гулким, как гром в горах.

Они прошли ещё несколько шагов, и коридор резко расширился, выплюнув их в огромный зал — сердце дома, его нутро, его живая плоть.

Саша замер на мгновение, пытаясь охватить взглядом это пространство, и дыхание перехватило. Зал был высоким, с потолком, уходящим вверх на два человеческих роста, где тёмные, массивные балки пересекались с клубами дыма от очагов — дым вился, как змеи, уходя в узкие отверстия под самой крышей. В центре, на каменном возвышении, стояли два массивных котла, вмурованных в основание из речного булыжника, — под ними весело гудел огонь, вырываясь из-под толстых чугунных решёток, и лизал чёрные бока чугуна. Пар от варева поднимался пряными, густыми столбами, щекотал ноздри запахами мяса, кореньев и какой-то сладкой, травяной горечи, от которой на языке появлялся привкус дыма. Женщины сновали между столов, расставляя миски, кувшины и деревянные ложки, — их движения были быстрыми, отточенными, как танец, и они переговаривались негромко, но слышно было каждое слово.

Столы были грубыми, без единой резной завитушки — могучие дубовые доски на толстых, словно звериные лапы, ножках, врытых прямо в земляной пол, присыпанный сухим песком и хвоей. Они стояли вдоль стен, образуя широкий подковообразный ряд, и за ними уже сидели люди — мужчины и женщины, старики и дети. На них были домотканые рубахи, расшитые по вороту и подолу, кожаные пояса с железными пряжками, а на некоторых, у самых дальних столов, висели ножи и топоры — не для боя, а для быта, но от них веяло той же суровой надёжностью, что и от хозяев. В центре, чуть на возвышении, на помосте из трёх ступеней, выделялся главный стол — поменьше, но более свободный, уже заставленный снедью: жарен-

ные окорока, круглые, румяные караваи, миски с соленьями — грибы, огурцы, капуста, — и кувшины, от которых веяло хмельным духом мёда и браги.

У главного стола, расставляя посуду с торжественной важностью, хлопотала Любава. Она была в тёмно-синем сарафане, расшитом по подолу серебряными нитями, и в белой, чисто выстиранной рубаше, с кружевными манжетами, которые она берегла для праздников. Её лицо, ещё недавно искажённое ужасом и горем, сейчас было сосредоточенным и строгим — она командовала девушками, указывала, куда ставить миски, сама поправляла ложки, и в каждом её движении чувствовалась привычная властность хозяйки. Но когда она подняла глаза и увидела сына, стоящего на пороге, всё её деловое спокойствие разом улетучилось, как дым от свечи.

Её глаза блеснули мокрой дымкой, губы дрогнули, и Саша увидел, как она на мгновение прижала руку к груди, словно сдерживая готовый вырваться всхлип, словно затыкая сердце ладонью.

«Сейчас заплачет», — подумал Саша, и он оказался прав. Любава отвернулась, закрыв лицо ладонью, и в тот же миг её окружили девушки — они подхватили хозяйку под локти, зашептали что-то успокаивающее, заслонили её от чужих взглядов, как стена щитов. Она плакала тихо, беззвучно, но плечи её вздрагивали, и Саша видел, как по её щекам текут слёзы, оставляя на белой рубаше тёмные пятна.

Саша отвернулся, чувствуя, как к горлу подступает ком, тугой и горячий, как уголёк. Чужое горе, чужое лицо, чужое имя — а боль была настоящей, живой, и он не знал, как на неё отвечать, как утешить женщину, которая оплакивала своего сына, не подозревая, что он стоит перед ней в чужой оболочке.

В зал тем временем начали заходить мужчины. Они появлялись по двое, по трое, снимали у дверей плащи — тяжёлые, из грубой шерсти и кожи, — скидывали в угол оружие: топоры, мечи, пара луков в кожаных чехлах, — и шли к столам, переговариваясь низкими, гулкими голосами, похожими на рык лесных зверей. Саша рассматривал их, стараясь запомнить лица: вот высокий, рыжий детина с обветренным лицом и глубоким шрамом на скуле — явно след от медвежьей лапы или вражеского клинка; вот коренастый, с плечами, как у медведя, с бородой, заплетённой в две косы, и цепкими, колючими глазами; вот седой старик с мудрым, изучающим взглядом, в богатой, отороченной мехом куртке — должно быть, один из старейшин, советников князя. Они все были похожи на отца — такие же суровые, с запахом леса и железа, с ручищами, привыкшими к топору и долгой работе, с глазами, которые привыкли видеть опасность за версту.

И наконец, когда последние ворота за спинами опоздавших сомкнулись с глухим, металлическим гулом, от которого по полу пробежала лёгкая дрожь, в зал вошёл князь Владимир. Он появился, когда шум уже начал стихать, и все взгляды обратились к нему. Он был в длинном, до пят, плаще из тёмного бархата, подбитом собольим мехом, с широким, серебряным поясом, на котором висел тяжёлый меч в ножнах, украшенных чеканкой. Его лицо было сосредоточенным, спокойным, но в глазах, глубоких и тёмных, горел тот самый холодный огонь, который Саша видел утром. Он грузно снял с плеч плащ, кинул его на ближайшую скамью, и поставил меч в угол — рядом с другими, но чуть в стороне, будто подчёркивая свою отдельность, своё право на первое место. Затем он неторопливо, с достоинством, прошёл к главному столу, к огромному креслу — нет, не креслу, к настоящему трону, высокому, с резными под-

локотниками, изображающими волчьи головы, и жёсткой дубовой спинкой, на которой был вырезан родовой герб — медведь с топорами. Рядом с тронем стояли два стула поменьше, но тоже резные, — для Любавы и для наследника.

Аксюта легонько коснулась плеча Саши и подтолкнула его вперёд, в спину, и этот толчок был мягким, но настойчивым, как приказ.

— Иди, — шепнула она одними губами, так что никто не услышал. — Садись. Не опускай головы. Помни, кто ты.

Саша шагнул к столу. Ноги его были ватными, как у новорождённого телёнка, но он заставил себя идти ровно, держа спину прямой, как учила Аксюта, — так, будто у него в позвоночнике вставлен железный прут. Любава уже сидела на своём месте — она быстро оправилась, вытерла глаза уголком платка, глубоко вздохнула и теперь смотрела на него с настороженной, всё ещё влажной улыбкой, в которой были и надежда, и боль. Саша сел на стул, высокий и жёсткий, как наковальня, и почувствовал, как взгляды всего зала, десятки глаз, устремились на него, впились в него, как иглы.

Князь Владимир поднял кубок — тяжёлый, серебряный, с потёртыми боками, на которых были выгравированы сцены охоты, — и повернулся к сыну. Голос его был твёрдым, как кованое железо, и не терпел возражений, как удар молота.

— Как ты? — спросил он коротко, впиваясь в Сашу взглядом, который, казалось, прожигал насквозь. — Голова как?

Саша сглотнул, чувствуя, как пересохло в горле. Он хотел сказать «нормально», но вовремя вспомнил, что Александр не был так прост, так уступчив. Он выпрямился, встретил взгляд отца и ответил, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без дрожи, без той мягкой нотки, которая была свойственна ему самому:

— Отец, всё... — он на мгновение замялся, покосившись на Аксюту, которая уже устроилась за столом для старейшин, и добавил чуть твёрже: — Всё хорошо.

Князь Владимир нахмурился, но промолчал. Его взгляд переметнулся на знахарку, и он громко, так чтобы слышали все, спросил, и в голосе его зазвенела властность, сталь, не терпящая лжи:

— Как его голова, бабка?

Аксюта, сидевшая среди стариков, подняла голову. Её морщинистое лицо расплылось в улыбке — лукавой, чуть дерзкой, без тени страха перед грозным князем, который привык, чтобы ему кланялись.

— Голова как голова, — сказала она спокойно, словно речь шла о капусте на огороде или о погоде за окном. — Месяц или два будет чудить. Может, говорить странно, может, забывать что-то, а может, видеть то, чего нет. Там видно будет. Такое не лечится за день.

Гул прошёл по залу — люди перешёптывались, косясь на главный стол, на наследника, на князя. Саша почувствовал, как щёки заливают краска, жаркая и неловкая, но он не опустил

взгляда. Он сидел, вцепившись пальцами в колени под столом, так что побелели костяшки, и пытался дышать ровно, не выдавая страха.

Князь Владимир грохнул кулаком по столу так, что посуда звякнула и подскочила, а в кубках плеснулось вино.

— Шутки шутить вздумала, бабка?! — прорычал он, и в голосе его послышалась глухая угроза, как рычание цепи. — Я тебя высеку! За дерзость!

Но Аксюта лишь ухмыльнулась, не сводя с него выцветших, но острых глаз, и сказала легко, будто речь шла о чём-то незначительном, о пустяке:

— Ну высеки, — сказала она, и в голосе её была та спокойная дерзость, которую не сломать ни угрозами, ни страхом. — Голова от этого легче не станет. А голова — она голова. Ей нужно время, как земле нужно время, чтобы родить хлеб.

Она отвернулась и подняла свою миску, давая понять, что разговор окончен, как будто она сама была княгиней, а не простой знахаркой. Князь Владимир ещё мгновение сверлил её взглядом, сжав челюсти так, что желваки заходили под кожей, но потом перевёл дух, шумно выдохнул, откинулся на спинку трона и махнул рукой, давая знак начинать пир.

— Ешьте, — коротко бросил он, и по залу прокатился вздох облегчения, как ветер по полю. Люди потянулись к еде, зазвенели ложки, загудели разговоры, и шум, густой и живой, заполнил зал, как вода заполняет сосуд.

Саша сидел, глядя перед собой, и чувствовал, как сердце колотится о рёбра, как в груди тесно от волнения. Он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, заставляя себя расслабиться, разжать пальцы. Взяв ложку — тяжёлую, деревянную, с выжженным узором, — он зачерпнул похлёбку из своей миски и поднёс ко рту, и чуть не поперхнулся: наваристая, пряная, с кусками мяса, которые таяли на языке, и незнакомыми травами, горьковатыми и терпкими, она обожгла горло и разлила по телу тепло. Но он проглотил, чувствуя, как тепло растекается по жилам, и вдруг понял, что голоден как волк, как зверь, который не ел несколько дней.

Повернувшись к Любаве, сидевшей рядом, он тихо, так чтобы слышала только она, сказал, и в голосе его прозвучала та мягкость, которую он перенял у Саши, но вложил в неё всю свою благодарность:

— Вкусно, матушка. Спасибо. Спасибо за заботу.

Любава вздрогнула, услышав это слово — «матушка», — и её глаза снова наполнились слезами, влажными и тёплыми. Но она улыбнулась — робко, благодарно, с отчаянием и надеждой, переплетёнными в одной улыбке, — и положила ему на руку свою тёплую, дрожащую ладонь, гладкую и мягкую, пахнущую тестом и дымом.

— Ешь, сынок, — прошептала она, сглатывая слёзы. — Ешь, поправляйся. Всё будет хорошо.

Саша кивнул и опустил голову над миской, пряча глаза, чтобы никто не увидел его слёз, которые снова готовы были пролиться. Он знал, что это не его мать, не его жизнь, не его имя.

Но здесь и сейчас это была единственная рука, сжимающая его пальцы, и она была настоящей, живой, тёплой. Где-то там, в мире машин и белых палат, другая женщина сидела над его пустым телом, и в её глазах тоже стояли слёзы. А здесь — этот дом, этот огонь, этот чужой, но такой нужный ужин, — становился его новой реальностью, его новой клеткой и его новым домом.

Он ел и слушал, как гудят голоса, как мужчины обсуждают урожай и налоги, как женщины перешёптываются о дочерях и женихах, как старики вспоминают былые походы. И в этом гуле, в этом тёплом, живом шуме, он впервые за долгое время почувствовал себя не одиноким. Чужим, неправильным, потерянным — но не одиноким. Он был частью этой жизни, хотя бы на одну ночь, хотя бы до утра.

Аксюта, сидя за дальним столом, поймала его взгляд и чуть заметно кивнула. Мол, держись, парень. Ты справляешься. Не сдавайся.

И Саша, вопреки всему, почувствовал, что, может быть, это и есть шанс. Шанс начать заново — пусть даже с чужого лица, пусть даже в мире, где каждый звук и запах был новым и опасным, как лес в ночи. Он сжал зубы, провёл ладонью по лицу, стирая влагу со щёк, и снова поднял голову. Он смотрел в этот зал, на огонь, на людей, на их лица, и внутри него, где ещё вчера была только боль и пустота, начинал разгораться маленький, упрямый огонёк — желание выжить, желание не сдаться, желание найти свой путь в этом чужом, но таком живом мире.

Глава 7. Мысли князя.

Князь Владимир Зайц сидел на своём троне, тяжело опершись локтями о дубовую столешницу, и смотрел на зал, на своих людей, на огонь, пляшущий в очагах. Перед ним стоял кубок с подогретым вином, в который были брошены щепотки корицы, гвоздики и какой-то горькой, ледяной травы, что росла только в предгорьях, где снег не тает даже летом. Напиток обжигал горло, разливался по жилам горячей рекой, согревал, но сегодня даже хмель, даже терпкий, пряный дух не могли отогнать одну и ту же, противную мысль, которая вилась в его голове, как осенняя муха, как назойливый комар, от которого не отмахнуться.

Сын стал каким-то другим.

Владимир перебирал в уме детали, цепляясь за них, как за спасительную верёвку над пропастью, как за щит в бою. Лицо — то же, глаза — те же, руки, спина, походка. Но ощущение, возникавшее, когда он оказывался рядом с Александром, было неправильным, чужим, как запах незнакомца в собственном доме. Будто там, под кожей его сына, под этой знакомой оболочкой, поселился кто-то другой, чужак. Словно Александр, прежний — гордый, резкий, с вечной насмешливой усмешкой на губах и холодным, колючим огнём во взгляде, — больше не существовал. Вместо него сидел мальчишка с мягкими, почти испуганными глазами, который благодарил служанок и робко, словно извиняясь, улыбался матери. Мальчишка, который не умел держать себя так, как подобает наследнику княжеского рода.

Владимир отогнал эту мысль, как отгоняют дурные предчувствия, но она возвращалась, липкая и настойчивая. Он не мог позволить себе слабость. Не сейчас. Он поднёс кубок к губам и сделал долгий, обжигающий глоток, чувствуя, как вино пробивает дорогу в груди, согревая и онемевая страхи, которые он так тщательно прятал от всех, даже от самого себя. Он обвёл взглядом зал — длинные, низкие столы, за которыми сидели его люди, его род, его опора и его ноша. Мужчины с загрубевшими, обветренными лицами, с руками, привыкшими к топору и плугу. Женщины в простых, но чистых одеждах, с усталыми, но добрыми глазами. Все сыты, все довольны. Кто-то громко смеялся, хлопая соседа по плечу, кто-то уже клевал носом, уронив голову на скрещённые руки, кто-то тихо перешёптывался о своём, о домашнем. Дети возились под ногами, ловя куски хлеба, которые им бросали отцы, и пищали, как птенцы. Всё было как всегда, как бывало испокон веков — после удачного лета, когда закрома полны, когда мясо вялится в дыму под крышей, когда зима не страшна.

Но Владимир видел другое. Он видел краешки взглядов, которые украдкой скользили к главному столу, к его сыну, к тому, кто должен был стать следующим князем. Кто-то из старейшин наклонился к соседу и что-то шепнул ему на ухо — тот кивнул, и они оба снова посмотрели на Сашу, на его неуверенную позу, на его слишком мягкую улыбку. Женщины, столпившиеся у дальнего котла, тоже перешёптывались, бросая короткие, быстрые взгляды на Любаву, которая сидела рядом с сыном, бледная и напряжённая, но старающаяся улыбаться, как будто ничего не случилось.

Слухи. Они разойдутся быстрее, чем ветер по горам, быстрее, чем дым от костра. «Александр ушибся, Александр стал юрдовым, Александр больше не тот, кто был», — зашепчут на всех углах, в каждой избе, на каждом торгу. И в этих шёпотах будет не только жалость, не только сочувствие, — в них будет расчёт, будет холодный, трезвый расчёт. Те, кто боялся его

сына, его твёрдой руки и острого, как кинжал, языка, те, кто помнил его высокомерие и его власть, теперь начнут пробовать на прочность, как пробуют лёд на реке перед переходом. Они будут проверять, как глубок ушиб, насколько слаб наследник, можно ли его сломать, можно ли обойти его, можно ли перетянуть на свою сторону.

Владимир сжал пальцами край стола. Кости побелели от напряжения, и в груди закипела глухая, сдерживаемая ярость.

Нельзя. Нельзя сейчас показать слабость. Александр должен восстановиться. Должен. Иначе всё, что мы строили поколениями, рухнет в одночасье.

Он перевёл взгляд на сына — тот ел, жадно, но аккуратно, не чавкая, не роняя крошек, как человек, который привык к голоду, а не к изобилию. Он поблагодарил Любаву за поданное блюдо — зажаренного до хруста поросёнка с яблоками, — и мать снова едва не расплакалась, снова прижала руку к груди, сдерживая рыдания. Обычно Александр ел молча, не поднимая глаз, и никогда не благодарил — он считал это само собой разумеющимся, как право князя на еду и кров. А этот... этот был вежливым. Слишком. Как будто боялся, что его накажут за невежливость.

Владимир заставил себя отвести глаза, чтобы не выдать своего смятения. Мысли его свернули на другую тропу, более важную и более тревожную, — туда, где лежал договор, скреплённый печатями и кровью.

Брачный договор с родом Димитра, князя соседнего удела, был заключён два года назад, когда вёсны сменялись холодными зимами, а войны заканчивались мирами. Тогда Димитр, старый, хитрый, как лис, привёл обозы с железными слитками и выделанными шкурами, а за ними — воинов, но не для боя, а для чести. Они ударили по рукам в присутствии старейшин, при свидетелях, при богах, которых призывали в свидетели: Александр берёт в жёны Елену, дочь Димитра, а род Зайцев получает право на половину руды из медных копей Димитра и безопасный проход через его земли. Взамен Зайцы отдавали свой лес и право охоты на северных склонах, где водился соболь и белка. Это был крепкий, честный союз — и в нём была сила, та самая сила, что держит миры и роды.

Димитр был стар, но умён. Он не стал бы заключать договор, если бы не верил, что Александр унаследует всё, что станет князем, что его дочь станет княгиней, а их дети — наследниками двух родов. Его дочь Елена — девица уже двадцати лет, высокая, с тёмными, как уголь, глазами и жёстким, мужским нравом, — она должна была стать хозяйкой этого дома, этой земли, этого леса. Владимир видел её лишь однажды, но запомнил её взгляд — цепкий, оценивающий, достойный будущей правительницы, в которой течёт кровь князей. Она знала себе цену, и она ждала. Ждала, когда обозы придут, когда снег ляжет на перевалы, когда её приведут к алтарю.

Обозы Димитра придут, как только ляжет первый снег — тот самый, который уже начал серебрить вершины гор, тот самый, что с каждым днём опускался всё ниже. Они должны будут пересечь перевал до того, как его заметёт по самую вершину, до того, как тропы станут непроходимыми. Тогда же состоится и свадьба. К тому времени Александр должен быть прежним. Твёрдым. Уверенным. Тем, кто не поклонится первым, кто не отвесит лишнего «спасибо» и не улыбнётся слишком мягко. Тем, кто сможет смотреть в глаза Елене и не отводить взгляда.

Владимир допил вино одним долгим глотком и поставил кубок на стол с глухим, тяжёлым стуком, от которого звякнула посуда. Он снова посмотрел на сына и вдруг заметил, что тот, поймав его взгляд, вздрогнул и выпрямился, стараясь выглядеть более суровым, более собранным. Но в глазах, в этих мягких, растерянных глазах, сквозила такая бездна неуверенности, такой океан страха, что Владимиру стало почти физически больно, как будто кто-то сжал его сердце ледяной рукой.

Где ты, сын? — спросил он мысленно, и вопрос эхом отозвался в пустоте, в той тёмной глубине, где жили его самые страшные страхи. — Где ты, мой наследник? Тот, кого я растил, кого учил держать меч и не кланяться, кого водил на охоту и учил читать следы?

Он не мог дать волю этому вопросу. Не мог позволить себе слабость отца, потому что он был князем, вождём, мужчиной, на котором держалась вся округа, все эти леса и горы, все эти люди. Слабость князя могла разрушить всё, что они строили, — как трещина в стене, которая превращается в пролом. Поэтому он только вздохнул, глубоко и шумно, поднял свой пустой кубок и подал знак служанке, чтобы та наполнила его снова, до краёв, горячим, пряным вином.

— За род Зайцев! — вдруг громко провозгласил Владимир, поднимая кубок над головой, так что свет масляных ламп заиграл на серебре. Его голос разнёсся по залу, перекрывая гул разговоров, звон посуды и детский смех.

Люди подхватили, задвигались, зазвенели кружками и мисками, поднимаясь с мест.

— За род! — загудели они хором, и голоса их слились в один мощный, древний клич, который эхом прокатился под высокими балками и ушёл в ночь.

Владимир подождал, пока шум стихнет, пока кружки опустятся на столы, и добавил, глядя прямо в глаза сыну, вонзая в него свой взгляд, как копьё:

— За наследника! Пусть встанет на ноги и приведёт наш род к новой силе! Пусть не посрамит имя Зайцев!

Саша, сидевший рядом, поймал этот взгляд. Он понял — или ему так показалось, — что отец говорит не просто слова, не просто тост. Это было испытание. Приказ. Предупреждение. И Саша, заставив себя улыбнуться той самой, холодной, надменной улыбкой, которую он видел у прежнего Александра только по отражению в старом, тёмном зеркале, поднял свою кружку, тяжёлую и грубую, и ответил, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо и звонко:

— За род! — его голос дрогнул на мгновение, но он не опустил глаз, выдержал взгляд отца. — Я не подведу. Клянусь.

Князь Владимир коротко кивнул, принимая ответ, и отвернулся, пряча в густой бороде тяжёлый, сдавленный вздох, который никто не должен был слышать. Но внутри, в самой глубине, там, где он не позволял себе бывать, шевельнулось холодное, липкое чувство, похожее на страх, — такое, какое он испытывал только перед битвой, когда не знал, вернётся ли домой. Он не верил этому мальчику. Он чувствовал, что перед ним чужак, что в его сыне поселилась чужая душа. Но он вынужден был на него надеяться, потому что выбора не было, потому что ставки были слишком высоки.

За стенами, за толстыми брёвнами, шумел ветер, и далёкие горы уже начали сереть первыми, едва заметными проблесками снега, которые с каждым днём опускались всё ниже, к подножию. Первый снег — он придёт незаметно, как всегда, как приходил испокон веков, и с ним придут обозы, и с ними придёт судьба, которую нельзя отменить. Владимир снова поднёс кубок к губам, но вкус вина теперь казался горьким, как полынь, как сожжённая трава. Он пил молча, слушая, как зал гудит вокруг него, как звенят ложки и смеются женщины, как где-то на улице воет собака, чувствуя приближение холодов. И в этом шуме, в этом покое, он слышал только свой собственный голос, который тихо, едва слышно твердил одно и то же:

Успеть бы. Успеть до снега. Успеть, пока не стало слишком поздно.

Глава 8. Белая комната.

В реанимационной палате было тихо. Тишина здесь стояла особенная — тягучая, ватная, нарушаемая лишь мерным, ритмичным писком аппаратов и шипением воздуха в трубках, которое напоминало дыхание спящего великана. Пахло спиртом, хлоркой и ещё чем-то холодным, стерильным, отчего хотелось закутаться в плед, закрыть глаза и не видеть этого белого, безжизненного мира. Свет здесь был ровным, без теней, без тепла — он лился из потолочных ламп, скрытых за матовыми панелями, и делал всё вокруг плоским, как на старой фотографии.

Любовь Анатольевна сидела на жёстком пластиковом стуле, придвинутом вплотную к койке. Стул был неудобным, с тонкими ножками и выгнутой спинкой, но она не замечала этого уже четвёртые сутки. Её пальцы, тонкие, с побелевшими костяшками, сжимали руку сына — ту, в которую не были воткнуты иглы капельниц, ту, что лежала поверх одеяла, бледная и неподвижная. Она держала её бережно, словно боялась разбудить, но в то же время так крепко, будто пыталась передать ему часть своей жизни, своего тепла, своей надежды. На запястье Саши тускло поблескивал пластиковый браслет с номером и штрих-кодом, и Любовь, сама не замечая того, гладила большим пальцем этот кусочек синтетики, словно это был амулет, способный защитить его от злых сил.

Саша лежал неподвижно, бледный, почти прозрачный на фоне белых, идеально выглаженных простыней, которые пахли больницей и чем-то чужим. Его лицо, ещё недавно такое живое, такое родное, сейчас было спокойным и отстранённым — словно маска, вырезанная из воска. Трубка в горле, повязка на голове, синяки, расплзшиеся по скулам и под глазами, — всё это делало его похожим на восковую фигуру, на музейный экспонат, который вот-вот уберут в запасник. Только редкие, почти незаметные подёргивания век давали понять, что внутри ещё теплится жизнь, слабая, как огонёк свечи на ветру.

— Сашенька, — шептала Любовь, и голос её срывался на беззвучный плач, на тот самый плач, который не выходит наружу, а остаётся внутри, разрывая грудную клетку. — Сашенька, родненький, очнись. Я здесь. Я рядом.

Она знала, что он её не слышит. Врачи сказали, что он в глубокой коме, и что шансы... Шансы они называли словами, от которых у Любви холодело внутри, и она заставляла себя не слушать эти слова, не впускать их в сердце. «Крайне низкие», «тяжёлое состояние», «будем бороться». И она боролась. Она сидела здесь уже четвёртые сутки, почти не вставая, почти не отрываясь от его руки, как будто если она отпустит его, он исчезнет, растворится в этом белом свете, как утренний туман. Она не ела — только пила воду, которую ей приносили сёстры, да заставляли себя глотать сухие куски хлеба, которые крошились во рту, чтобы не упасть в обморок и не пропустить тот самый миг, когда он откроет глаза.

За дверями палаты слышались шаги — мягкие, осторожные, — и приглушённые голоса, которые звучали как из-под воды. Кто-то из медперсонала заглядывал каждые полчаса, проверял показатели на мониторах — цифры, линии, графики, — что-то записывал в карту, кивал и выходил, не нарушая тишины. Они привыкли к этой женщине, которая почти не покидала пост, которая сидела у постели сына с утра до ночи, с ночи до утра, и глаза её, воспалённые от бессонницы, уже потеряли цвет. Они не прогоняли её — знали, что бесполезно, что она не уйдёт, даже если её будут выгонять силой.

В памяти Любви всплыли слова врача, сказанные в первый день, когда она, обезумевшая от горя, ворвалась в реанимацию, не помня себя: «Мы запускали его сердце дважды. Дважды оно останавливалось. Но он вернулся. Держится. Видимо, есть за что». Тогда она рухнула на колени прямо в коридоре, на холодный кафельный пол, не в силах сдержать крик, который вырвался из самой глубины её души, — крик, похожий на вой раненого зверя. А теперь она сидела здесь, и её глаза, покрасневшие и сухие, смотрели на сына с такой тоской, что казалось, она пытается вытянуть его из этой белой пустоты одной только силой взгляда.

Заводчане не бросили их. Света, её коллега и сменщица, та самая, что подвозила её на работу каждое утро, приходила каждый вечер, как по расписанию. Она приносила домашнюю еду — суп в термосе, ещё тёплый, с кусочками курицы и зеленью; котлеты, завернутые в фольгу; хлеб, только что испечённый, — заставляла Любовь есть, уговаривала, ворчала, ругалась, а потом сама же плакала, прижимая к себе подругу, чувствуя, как та дрожит в её объятиях, как кости выпирают через тонкую кофту. Она договаривалась с главным врачом, чтобы Любви разрешали оставаться на ночь, несмотря на строгие правила. Она приносила тёплые вещи — пледы, шерстяные носки, — когда Любовь начинала дрожать от холода больничных коридоров, от того ледяного воздуха, который проникал под кожу.

— Любаша, ты себя погубишь, — говорила Света, поправляя плед на плечах подруги, кутая её, как ребёнка. — Саша поправится, а ты ляжешь рядом. Ему нужна сильная мать. Ты поняла?

Любовь кивала, не слушая, не вникая в слова. Она смотрела на сына и тихо повторяла, как заклинание, как молитву, которую она бормотала про себя уже сотни раз:

— Он очнётся. Я знаю. Он очнётся.

Антон Борман, начальник цеха, тот самый, кто пришёл к ним в дом в тот страшный вечер с известием о смерти Владимира, тоже не забыл. Он приезжал дважды — в первый день, когда Любовь ещё не могла говорить, и вчера, когда она уже начала понемногу приходить в себя. Он стоял в дверях палаты, мял в своих больших, мозолистых руках кепку, и смотрел на парня с такой болью, словно это был его собственный сын, словно он видел, как уходит часть его самого. Он не входил внутрь — не хотел мешать, — но каждый раз оставлял на тумбочке у входа пакет с яблоками, шоколадкой и запиской, выведенной твёрдым, мужским почерком, с нажимом: «Держись, Люба. Парень крепкий. Он справится». И уходил, стараясь не смотреть в глаза женщине, потому что знал — если он увидит её слёзы, то и сам не сдержится, и это будет слабостью, которую он не мог себе позволить.

Сегодня был уже четвёртый день. За окном, за плотными, белыми шторами, которые почти не пропускали свет, сгущались сумерки — город жил своей обычной жизнью, где-то шумели машины, кто-то спешил домой, кто-то смеялся, не зная о том, что в одной из палат, в этом белом, стерильном мире, женщина с мёртвой хваткой держит руку сына и молится всем богам, которым никогда не верила, — и Богу, и судьбе, и даже тем древним, языческим силам, о которых она читала только в книгах.

Любовь прикрыла глаза, чувствуя, как веки тяжелеют, как свинец наливается под ними. Она не спала уже больше суток — последний раз, кажется, вчера днём, когда Света уговорила её прилечь на полчаса на свободную койку в ординаторской, но сон не шёл — её глаза сами

открывались каждые пять минут, и она вскакивала, чтобы проверить, не изменилось ли что-то, не открыл ли он глаза, не дёрнул ли рукой, не вздохнул ли глубже. Она боялась пропустить это мгновение, боялась, что он откроет глаза, а её не будет рядом, и он подумает, что она его бросила.

Она снова посмотрела на Сашу. На его лицо, такое спокойное, такое отстранённое. И вдруг ей показалось, что его веки дрогнули — едва заметно, как трепет крыла бабочки, как рябь на поверхности воды. Она замерла, не дыша, вглядываясь в каждую морщинку, в каждую тень на его лице, в каждое движение ресниц.

— Саша? — прошептала она, сжимая его руку так, что побелели пальцы. — Сашенька, ты слышишь меня?

Монитор пикнул, и зелёная линия на экране дрогнула, участилась на пару ударов, как будто сердце откликнулось на её голос. И Любви показалось, что его губы чуть шевельнулись — беззвучно, словно он пытался что-то сказать, но не мог пробиться сквозь толщу сна.

Она подалась вперёд, приникла ухом к его губам, к той щёлочке между трубками и кожей, но услышала только ровное, почти спокойное дыхание, поддерживаемое аппаратом, который шипел и вздыхал, как живой. И всё же в груди что-то дрогнуло — то самое, что даёт надежду, когда её уже не должно быть, когда всё говорит о том, что надежды нет.

— Я здесь, — прошептала она, касаясь губами его лба, чувствуя, как её слёзы падают на его кожу, горячие и солёные. — Я здесь, мой мальчик. Я не уйду. Никуда не уйду. Никогда.

За дверью слышались шаги — кто-то шёл проверять показатели, привычная ночная смена, которая ничего не ждала от этой палаты, кроме тишины. Любовь выпрямилась, снова села ровно, промокнула глаза уголком платка, который Света принесла ей вчера, и, когда медсестра вошла в палату, улыбнулась ей бледной, но твёрдой улыбкой, в которой было больше силы, чем у иных воинов перед битвой.

— Он дышит, — сказала она, словно это была самая важная новость на свете, словно она объявляла о победе. — Он дышит. Я чувствую. Он вернётся.

Медсестра, молодая девушка с усталыми глазами и вечно озабоченным лицом, понимающе кивнула и ничего не ответила. Она просто проверила трубки, записала цифры с монитора — давление, пульс, сатурацию, — и бесшумно вышла, оставив Любовь снова одну, в этой тишине, нарушаемой только писком аппаратов.

А та сидела и смотрела на сына, и в её голове, словно заклинание, билась одна мысль: «Дыши, Саша. Дыши. Я жду. Я всегда буду ждать. Я здесь, пока ты не откроешь глаза».

Где-то там, в другом мире, в мире, где лес касался неба, а горы хранили древние тайны, её сын тоже учился дышать заново — в чужом теле, под чужим именем, но с той же самой душой. Но она не знала этого. Она знала только одно: он здесь, он рядом, он борется. И она будет бороться вместе с ним. До самого конца. До последнего вздоха. До последнего удара сердца.

А за окном, за белыми шторами, начинался новый день — серый, дождливый, как и все дни в этом городе. Но в палате, в этом белом, стерильном мире, горел маленький огонёк надежды, который не давал погаснуть даже в самой густой тьме.

Глава 9. Тот, кто был Александром.

Он висел в пустоте — ни тёплой, ни холодной, ни светлой, ни тёмной. Просто *иное* пространство, где не было ни верха, ни низа, ни времени, ни расстояния, только ощущение себя, своего «я», сжатого в тугой, горячий комок воли и ярости, как кулак перед ударом. Александр Зайц, княжич, наследник рода, воин, привыкший держать меч и не опускать глаз, сейчас парил над чем-то, что одновременно было и не было его телом, и в его груди, в том месте, где когда-то билось сердце, kloкотала глухая, сдерживаемая злоба, смешанная с ледяным, противным страхом, которого он никогда не испытывал даже перед лицом врага.

Внизу, в белой комнате, на жёсткой, неудобной койке лежал парень. Худой, бледный, с тёмными кругами под глазами, с впалыми щеками и выступающими ключицами, в каких-то странных, нелепых одеждах, которые Александр не мог понять — они не были ни кожей, ни холстом, ни шерстью, а чем-то гладким, блестящим, чуждым, как кожа змеи, но без чешуи. Лицо парня было похоже на его собственное, но только похоже — как отражение в мутной, стоячей воде, как тень, которая искажает черты. Тот же разрез глаз, та же линия скул, тот же изгиб бровей, но выражение иное — мягкое, испуганное, почти детское, без той жёсткой, колючей стали, которая была свойственна самому Александру. Это лицо было его лицом, но не его духом, не его волей.

Александр смотрел на это тело, сжав прозрачные кулаки в бессильной, яростной злости, и чувствовал, как внутри него поднимается волна отчаяния, которой он никогда не позволял себе раньше. Он пытался рвануться вниз, вдохнуть себя обратно, занять ту оболочку, что принадлежала ему по праву рождения, по праву крови. Но каждый раз, когда он приближался, когда его прозрачные пальцы почти касались бледной кожи, его отбрасывало назад, словно невидимая стена из плотного, холодного воздуха вставала между ним и его плотью, и он снова парил в этой пустоте, беспомощный и чужой.

— Ну что, может, пойдём уже? — раздался голос сбоку, ленивый и чуть насмешливый, как у человека, который видел это тысячу раз и которому это уже надоело. — Всё уже, пора. Мне отчёт сдавать, а ты тут висишь, как тряпка на ветру.

Александр резко обернулся, разрывая свой взгляд от тела внизу. Рядом с ним, скрестив руки на груди, стояла девушка. Молодая, лет двадцати с виду, в длинном чёрном сарафане, расшитом по подолу серебряными нитями, подпоясанном широким, кожаным кушаком с медной пряжкой, на которой был вырезан странный знак — перевёрнутый полумесяц с точкой в центре. За поясом, на левом боку, висел серп — не тот, что используют для жатвы, а странный, изогнутый, с лезвием, отливающим тусклым, холодным серебром, как лунный свет. Её волосы — чёрные, как смоль, как вороново крыло, — были распущены и падали на плечи тяжёлыми, густыми прядями, переливаясь в этом странном, бесплотном свете. А глаза, такие же тёмные, бездонные, как ночное небо в горах, смотрели на Александра с лёгкой, насмешливой усмешкой, как на нашкодившего ребёнка, который пытается оправдаться перед строгой нянькой.

Она была красавицей, той опасной, хищной красотой, что бывает у волчиц или у птиц, которые не спешат нападать, но дают знать, что в любой момент могут. В ней чувствовалась сила, которую не измерить оружием, — древняя, холодная, как сама вечность.

— Отстань, лихая! — огрызнулся Александр, снова поворачиваясь к телу внизу, не в силах оторвать взгляда от этого странного, чужого лица, которое было его лицом. Он протянул прозрачные руки вперёд, пытаясь коснуться своей оболочки, но пальцы прошли сквозь неё, как сквозь дым, как сквозь воду, не встретив никакого сопротивления. — Это вообще не моё тело! Ты сама сказала, что моё — там, в другом месте, в том мире, где лес и горы. Зачем ты привела меня сюда? Зачем показываешь мне это?

Девушка с серпом хмыкнула, неторопливо обошла его и остановилась рядом, тоже глядя вниз, на белую палату, на лежащего парня и на женщину, которая держала его за руку и молилась, не зная, что её молитвы никто не слышит, кроме них.

— Это твоё тело, Александр, — сказала она спокойно, но в голосе её прозвучала железная, не терпящая возражений нотка. — Просто не в этом мире. Там, где ты родился, где ты вырос, где тебя ждёт Елена и твой отец-князь, — там твоё тело. А здесь, — она кивнула вниз, на парня, который лежал неподвижно, — здесь лежит тот, кто занял твоё место. Тот, кто теперь носит твоё имя и должен жить твоей жизнью, пока ты... — она замолчала, раздумывая, как сказать мягче, но потом пожала плечами и договорила прямо, без обиняков: — Пока ты не вернёшься. Если вернёшься.

Александр замер. Он смотрел на парня внизу — тот даже не шевелился, его лицо было спокойным, пустым, словно маска, вырезанная из мрамора. Рядом с ним, сжав его руку в своих, сидела женщина. Она была старше, с бледным, измождённым лицом, с глубокими морщинами вокруг глаз и рта, с седыми прядями, выбившимися из-под платка. Она молилась — Александр слышал её шёпот не словами, а ощущением, теплом, которое поднималось от неё, как пар от земли после тёплого дождя, как дым от костра в холодную ночь. Это тепло было тёплым и горьким, как жжёная трава.

— Кто она? — спросил Александр тихо, чувствуя, как в груди шевельнулось что-то, похожее на тоску, на ту самую боль, которую он никогда не позволял себе чувствовать.

— Его мать, — ответила девушка, и в её голосе мелькнула странная, почти мягкая нотка, которую он не ожидал от неё услышать. — Ну, того парня, что теперь в твоём теле, в лесах и горах, в доме твоего отца. Она не знает, что там, в том мире, её сын уже очнулся. Она думает, что он здесь, в этой белой комнате, умирает. И она держится из последних сил, как держится путник на краю обрыва.

Александр вдруг понял, что эта женщина — не просто чужая, не просто посторонняя. Она была матерью. Она была болью, воплощённой в живом человеке, в этой хрупкой, дрожащей фигуре. И она держала за руку того, кто был ему чужим, но при этом был им самим. Он чувствовал её молитву, её надежду, её отчаяние — и это чувство было настолько сильным, что на мгновение он забыл о своей ярости, о своей гордости, о своём княжеском достоинстве.

— Её сын... — медленно повторил Александр, и в его голосе послышалось удивление, смешанное с чем-то, что он не мог назвать. — Она думает, что это я? Что я — её сын?

— Ты и есть он, — сказала девушка с серпом, и в её голосе мелькнула та странная, почти сострадательная нотка, которую он не ожидал от неё. — Теперь вы связаны. Вы поменялись местами — ты занял его тело, он твоё. И пока ты не вернёшься, вы будете чувствовать друг друга, будете видеть сны друг друга, будете ощущать боль друг друга. Ты — его жизнь в твоём

мире, он — твою в его. Это называется судьба, Александр. Или случайность, или ошибка. Смотря кто рассказывает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.